

НОВЫЙ Журнал

166

THE
NEW REVIEW



Нью-Йорк

*THE
NEW REVIEW
Новый Журнал*

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942

Сорок шестой год издания

Кн. 166

НЬЮ ЙОРК

1987

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 редактор Роман Гуль
1981-1983 редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Е. Магеровский
1984-1986 редакция: Роман Гуль (гл. редактор),
Ю. Кашкарров, Е. Магеровский
1986 г. Ю. Кашкарров

Обложка работы Мстислава Добужинского

Присланные рукописи не возвращаются

THE NEW REVIEW, MARCH 1987

© THE NEW REVIEW

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly
by New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York,
N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York,
N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send ad-
dress changes to the New Review, 611 Broadway, #842,
New York, N.Y. 10012.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Ахмадулина</i> — Стихи	5
<i>В. Яновский</i> — По ту сторону времени. <i>Роман</i> (предисловие В. Одена)	15
<i>Л. Алексеева</i> — Стихотворение	81

К 150-летию СО ДНЯ СМЕРТИ А.С. ПУШКИНА

<i>В. Ходасевич</i> — О двух отрывках Пушкина	82
<i>В. Крейд</i> — Георгий Иванов о Пушкине	87
<i>Г. Иванов</i> — Жертва Пушкина	91
<i>Марсель Пруст</i> — Стихи (перевод <i>И. Чиннова</i>)	94
<i>Н.Б.</i> — Москва и москвичи вокруг Булгакова	96
<i>Р. Левинзон</i> — Стихи	151
<i>Д. Шляпентох</i> — Заговор	153
<i>Е. Грей</i> — Стихотворение	166
<i>Э. Штейн</i> — Владимир Набоков: шахматно-поэтические коллизии творчества	167
<i>С. Шварцбанд</i> — О. М.М. Пришвине	176
<i>В. Крейд</i> — Неизвестная статья Н.С. Гумилева?	189

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

« <i>Старые годы</i> » — <i>А.П. Марков</i> — Воспоминания бывшего городского секретаря	209
<i>Р. Гуль</i> — Ледяной поход	216
Неопубликованные документы внешней политики СССР	240

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- А. Гершкович* — Станиславский и Мейерхольд:
из истории отношений247

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- В. Петроченков* — Памяти И. Елагина253
Е. Филипс-Юзвигг — Памяти поэта И. В. Елагина254

ОТ РЕДАКЦИИ

Начиная с этого номера, *Новый Журнал* переходит в ведение Редакционной Коллегии в составе: *А.С. Антоновича, В.П. Крейда, М.И. Раева (и.о. главного редактора), В.М. Сечкарева, И.В. Чиннова и З. О. Юрьевой.*

Секретарь редакции *В. Андреева.*

Редакционная Коллегия сожалеет о задержке с выходом журнала и надеется на бесперебойный выпуск очередных книг.



Редакция "Нового Журнала" от всей души поздравляет Беллу Ахатовну Ахмадулину с пятидесятилетием и желает ей долгих и радостных лет служения Российской словесности.

Белла Ахмадулина

ДЕНЬ-РАФАЭЛЬ

Пришелец День, не стой на розовом холме!
Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.
Зачем ты снизошёл к оврагам и ко мне?
Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.

День-Божество, ступай в Италию свою.
У нас ещё зима. У нас народ балует.
Завистник и горбун, я на тебя смотрю
и край твоих одежд мой тайный гнев целует.

Ах, мало оспы щёк и гнилости в груди,
ещё и кисть глупа и краски непослушны.
День-Совершенство, сгинь!

Прочь от греха уйди!
Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.

Но ласково глядел Богоподобный День.
И брату брат сказал: "Брат досточтимый, здравствуй!"
Престольный праздник трёх окрестных деревень
впервые за века не завершился дракой.
Неузнанным ушёл День-Свет, День-Рафаэль.
Но мёртвый дуб расцвёл средь ровных долины.
И благодный закат над нами розовел.
И странники всю ночь крестились на руины.

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
Игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

ЕЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили елку. Она и сама смущена, что попала в обитель страданий. В край окна моего ленинградская входит луна и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна, переходит луна, и доносится шорох стараний утаить от соседок, от злого непрочного сна нарушение порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но все же — канун Рождества. Завтра кто-то дождется известий, гостинцев, свиданий. Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда не пуста лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла. Оснований других не оставлено для упований, но они так важны, так огромны, так несть им числа, что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где елка — причина для слез (не хотели ее, да сестра заносить повелела), сердце бьется и слушает, и раздалось, донеслось: — Эй, очнитесь! Взгляните — восходит Звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву, поспешанье волхвов, и неопытной матери локоть, упавший младенца с отметиной чудной во лбу. Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи мимолетность.

Этой плоти больной, извращенной трудом и войной, что нужней и отрадней столь просто описанной сцены? Но корят то вином, то другою какой-то виной и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел, как бессмысленный черный фонарик,
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на елке названивал крошка звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет — был меньше, чем розовый: родом из робких, не резких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать, —
вдоль метели пронесся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: — Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый, огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слез и любви.
— Вам не надо ль чего-нибудь? — Нет, ничего нам не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В день рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!

* * *

Памяти О. Мандельштама

В том времени, где и злодей
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.

Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.

Та — бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни вёрст любви нечёткой.
Любуется! И гений лба Застенчиво
завешен чёлкой.

Но век желает пировать!
Измученный, он ждёт предлога —
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.

Знал и сказал, что будет знак
и век падёт ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершённой речи.

Ему — особенный почёт,
двойное злорадство неба,
певец, снабжённый кляпом в рот,
и лакомка, лишённый хлеба.

Гортань, затеявшая речь
неслышанную, — так открыта.
Довольно, чтоб её пресечь
и меньшего усердья быта.

Из мемуаров: "Мандельштам
любил пирожные". Я рада
узнать об этом. Но дышать —
не хочется, да и не надо.

Так значит, пребывать творцом,
за спину заломивши руки,
и безымянным мертвецом,
всё ж недостаточно для муки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моём кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! И я его кормлю
огромной сладостью! И плачу!

ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нем была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэт
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на нее смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
Он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нем завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее "неясной":
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже пострел забрал себе права
глагола своего, не промахнулся — вырос
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески
и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очередность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала Ладыжинских черемух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала — все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля
черемуха по всей округе расцвела..

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома
и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но — дрема, но — истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи наитья?
Дыхание ее под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учен вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя
и бабкин Дядя — Жоржик-истопник.
— А это что? — спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр её, коль песню запоёт.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность прятков. Лампа ждёт меня.
Но что мне делать? Слушай: "Буря мглою..."
Теперь садись. Пиши: эМ — А - эМ — А.

Зачем все это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ — А — эМ—А.

Так мы сидим вдвоём на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эМ — А — эМ — А.

Так утекают дни, с небес роняя
разнообразие еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
плениет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он
не виделся с моею тёзкой рыжей:
здесь род её прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще, наш люд настроен рукопашно,
хоть и живет смиренных далее средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка!
я резво, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула — прыг, и спряталась за дверь.

Значенье пряток сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему всё воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть ещё?

23 апреля (и ночью) 1983 г.

* * *

Поздней весны польза-обнова.
Быстровелик оползень поля:
коли и есть посох-опора,
брод не возбредится к нам.
"Бысть человек послан от Бога,
имя ему Иоанн."

Росталь: растущей воды океянье.
Полночь, но опалены
рытвины вежд и окраин канавье
досталью полу-луны.
Несть нам отверзий принесть покаянье
и не прозреть пелены.
Ходу не имем, прийди, Иоанне,
к нам на берега полыньи.
Имя твоё в пра-родстве с именами
тех, чьи кресты полегли
в снег, осенённый тюрьмой и дымами,
оборони, полюби
лютость округи, поруганной нами,
иже рекутся людьми.

”Бысть человек послан от Бога,
имя ему Иоанн.”
О, не ходи! Нынче суббота,
праздник у нас: посвист разбоя,
обморок-март, путь без разбора,
топь, поволока, туман.

В. Яновский
ПО ТУ СТОРОНУ ВРЕМЕНИ

роман

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ*

Традиционный роман — это вымышленное происшествие, протекающее в Основном Мире — в мире предметов, людей и событий, обычно существующих под нашим солнцем. Оба — и автор, и читатель — интересуются героями романа, озабочены их деятельностью и страданиями, но одновременно с этим сохраняют обособленность посторонних зрителей, подобно тому как мы одновременно с интересом, и с безразличием относимся к людям, которых знали и встречали во время нашего земного существования.

Однако писатель, отбирая и по-новому группируя элементы Основного Мира, может создавать вымышленные Вторичные Миры, где предметы, люди и события значительно отличаются от всего того, что заполняет тот мир, в котором мы обретаемся. По отношению к таким вымышленным мирам Элизабет Сюзл, мне кажется, установила весьма важное различие.

— Вторичный Мир, — говорит она, — может быть либо миром сказки, либо миром абсурда. В мире сказки и автор, и читатель эмоционально вовлечены; в мире абсурда они всецело безучастны.

”При помощи очарования создается Вторичный Мир, и, временно погружаясь в него, и творец, и зритель испытывают

* © W. Auden.

полное удовлетворение; для этого не требуется обмана, колдовства или насилия: требуется только стремление к обоюдному обогащению — не рабство, а содружество для созидания и восхищения” (Ж. Р. Р. Толкин).

“Абсурд, эта старательно закрытая, вымышленная система, тесно связанная с математикой, логикой и играми, разыгрываемыми по строгим правилам... изолирует нас от реальной жизни, держа в контролируемом и управляемом (ибо исключительно интеллектуальном) мире рассуждений” (Элизабет Сюэл).

“Моби Дик”, “Лилит”, “Замок” — вот примеры сказок; “Путешествие Гулливера”, книги об Алисе и полицейские романы — это “абсурдные” рассказы.

Роман Яновского движется взад и вперед между “Гиблым Местом” какого-то неведомого селения на Севере у границы с Канадой и абсурдным миром, называемым Чикаго или Нью-Йорком. Содержание этого романа типично для “сказочной” темы “героического поиска” и напоминает мне путешествие аргонавтов, поплавших за Золотым Руном.

Его Язон — Корней Ямб, судя по рассказу, родился в России и прибыл из Европы в Чикаго, где он подрядился организовать экспедицию, цель которой — разыскать таинственного молодого человека по имени Бруно и доставить его в условленное место. Корней некогда был верующим человеком (православным?), но лет десять тому назад потерял свою веру и проникся уважением к ценностям того абсурдного мира, в котором он живет.

О себе и о своих товарищах-аргонавтах он говорит:

“Перед нами второе поколение... Первое поколение отцы! Они были героями: люди действия, совершали подвиги во имя идеи. А здесь собралось второе поколение: жажда дела и способность к подвигу остались, но идеи выветрились. Поэтому мы пальцем о палец не ударим без прямой выгоды. За деньги мы добудем вам философский камень и доставим его к сроку на луну.”

Главы, в которых В. Яновский описывает жизнь своего героя в Чикаго и Нью-Йорке, расположены в конце книги, но, я думаю, что о них следует сказать несколько слов сразу, теперь. Это — мир абсурда, мир без смысла, мир, в котором люди не по

своему выбору решили поклоняться деньгам, а не другим, более высоким ценностям; они фактически вынуждены это делать потому, что все другие, более высокие ценности недоступны им без денег. И хотя всего этого никто не планировал и только немногим это нравится, это мир, в котором существовать, любить, даже умирать так дорого, что без денег, и больших денег, просто жить по-человечески стало невозможно (за исключением, разве, святых). Без больших денег человек обречен на бессмысленный труд, вплоть до примерки туфель на дамские ноги. А для женатых жизнь становится все более тяжелой и отвратительной с рождением каждого нового ребенка. Только богатые могут себе позволить разные высокие чувства, честность и благородство. Когда герой Яновского оставляет бедную девушку, мать его детей, ради богатой женщины, это, пожалуй, для их же выгоды: теперь материальные условия жизни всей семьи улучшатся. Когда на квартире вспыхнет пожар и дети сгорят, читатель и, кажется, сам герой, почувствуют только облегчение: тяжелый экономический груз снят с плеч.

Цель экспедиции — близорукий гигант, больной диабетом, весящий 240 фунтов. Если это настоящий Бруно (а было уже несколько самозванцев) то он — наследник огромного состояния. Для хозяев Корней — это Золотое Руно, существо, которое будет приносить им неизменный доход. Сам Бруно считает себя пророком с новой проповедью для всего человечества, отсюда его готовность оставить селение и ехать с Корнеем в Чикаго. Он помнит, или ему кажется, что он помнит, всю историю Вселенной от сотворения мира до настоящего времени. Он велеречив и временами, надо признаться, туманен; его проповедь, если я ее правильно понял, может быть вкратце передана словами Джорджа Макдональда:

”Индивидуальность — не основная цель разделения; она — только средство: главная цель — в единстве, невозможном без индивидуальности. Ибо не может быть ни единства, ни радости, ни любви, ни согласия, ни добра там, где есть только один: для единства необходимы, по меньшей мере, двое.”

Чтобы выследить Бруно, Корней пробирается в сказочный мир Селения; это — опасная авантюра, ибо те, кто проникал туда до него, не вернулись назад.

К изумлению Корнея, его там встречают как вернувшегося блудного сына, Конрада Жамба, мужа старшей дочери местного пастора и отца ее калеки-мальчика Фомы. Поначалу Корней думает только о том, как бы лучше воспользоваться этой ситуацией: поскольку они не подозревают о его намерениях, ему будет легко выведать, где прячется Бруно. Корней разыгрывает роль отца и мужа, работает на лесопилке и в кузнице, участвует в шахматных состязаниях и помогает своему предполагаемому тестю при службе в церкви и с обходом больных. Но чем дольше он остается там, тем больше он втягивается в жизнь Селения.

Это совсем не Рай до грехопадения. Там знакомы со злобой, завистью, насилием, убийством. Но это осмысленный, а не абсурдный мир. Пейзаж там прекрасен, и людские произведения радуют душу. Это доиндустриальное общество, экономически автономное — с водяными двигателями, но без угля, мазута или электричества. В Селении нет богатых, но нет и бедных, и все любят свой труд. Члены общины чувствуют себя компаньонами в одном деле, объединенные соборной верою в Бога и любовью к родным местам.

Пожалуй, самой странной чертой является их пристрастие к проповедям, образы которых заимствованы из высшей математики и новой физики. Даже в университетских городах многие прихожане, наверное, были бы поставлены в тупик такой притчею:

”Но дьявол не сдался... Только что все улеглись на постоялом дворе, как в ворота стучит уже караван с бесконечным множеством усталых путников, жаждущих крова. ”Пустите, — молят они. — На дворе метель”. И хозяин опять нашелся, перехитрив коварного врага. Бесконечность своих старых постояльцев он перевел в бесконечность четных номеров, а вновь прибывших поместил в бесконечность нечетных комнат.”

Корнею постепенно становится ясным, что Селение — это тоже ”Гиблое Место”, где происходят странные вещи и где за каждой дверью таится некий сюрприз.

”Однажды в праздник Конрад, один бродя по опустевшему дому, нашел в темном чулане на полу совершенно новенький черный лакированный телефон с толстым витым шнуром, ведущим в подполье. Он поспешно отпрянул, как школьник, нашед-

ший в ящике отца непристойную картинку; ступая на цыпочках, чтобы не оставлять следов, он вернулся в жилые комнаты”.

Время тоже ведет себя странно.

“Между 1-ым и 13-ым января календарь в Селении точно останавливался и 14-ое опять оборачивалось днем Нового года... Выходило, что в течение почти двух недель аборигены могли возвращаться назад по собственным следам, исправлять вольные и невольные ошибки, каяться в грехах, преобразовать уже завершенное и бывшее делать словно небывшим”.

Корней-Конрад влюбляется в сестру своей предполагаемой жены, которая сводит его с Бруно; втроем они ухитряются бежать и пробираются в Чикаго. Здесь, в абсурдном мире, все опять идет кривь и вкось. Бруно убивают, жена с детьми погибают от пожара, и почти все аргонавты кончают одинаково плохо. Корней решает вернуться назад в Селение, на этот раз по собственной воле.

“Да, там была тайна, и он ее добровольно оставил, предал (не расшифровав).”

И снова его встречают, словно ничего особенного не случилось, будто Бруно никогда не существовал. В конце концов, может он действительно — Конрад Жамб, а Корней Ямб вместе со всеми своими приключениями только выдумка, миф. Подходящим эпиграфом к этому роману могла бы служить цитата из Оскара Уайльда: “Наша настоящая жизнь очень часто именно та жизнь, которой мы никогда не жили.”

В. С. Яновский — русский эмигрантский писатель, доктор медицины Парижского университета, автор многих романов, но “По ту сторону Времени” — его первая книга, переведенная на английский.

Надеюсь, что будут переведены и другие его произведения. В отличие от многих современных книг “серьезного” характера, эта повесть захватывает; читатель постоянно жаждет узнать: что будет дальше! Образы прекрасны и неожиданны, часто в духе Вирджинии Вульф. Например:

“Фома ловко отполз к другому костру, ожидая немедленной потасовки, где и притаился на манер беспомощной ядовитой змейки.”

Или:

"А в небе сиротливо металась одинокая тучка, вспугнутая ржанием гигантской кобылицы с развевающейся гривой".

В прозе нам слишком часто навязывают символы и сравнения, что подчас раздражает, но В. Яновский распоряжается своими образами с неослабевающим тактом. Кажется и естественным и важным, что живой медвежонок из сказочного мира, друг предполагаемого сына героя Фомы, воплощается снова в мире абсурда в образе плюшевого медведя, игрушки его подлинных детей; и это единственный предмет, которому суждено спастись от погубившего всю семью огня.

Авторы фантастических книг редко смешат, но юмор Яновского часто радует:

"Там их встретила сестра Нила, вдова профессора местного университета, изобретателя особой линейки (на манер математической), при помощи которой, располагая данными относительно возраста, образования и семейного положения, можно сразу на шкале увидеть, сколько этот гражданин должен зарабатывать, тратить и откладывать в любой период своей карьеры. Профессор связался с одной темной страховой компанией и в результате сложной склоки вынужден был бежать за железный занавес, не оставив соломенной вдове ничего более ощутимого, чем свою линейку (упорно показывающую, что ему полагалось теперь располагать весьма солидным капиталом)".

В годы, когда мы все читаем слишком много и слишком быстро, вернейшим доказательством ценности данного романа служит, по-моему, тот факт, что некоторые описанные в нем сцены, после прочтения книги, еще долго живут в памяти. В романе "По ту сторону Времени" есть эпизоды, такие, например, как похороны Аптекаря или Корней на кладбище старых автомобилей, которые я буду помнить всю свою жизнь.

В. Оден

Перевод И.Я. и В.Я.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

в которой солнце заходит над бором

Прошло несколько часов с тех пор как шумные друзья отселятовали своему командиру и, повернув черный "Линкольн", исчезли за стволами розовых сосен. Отсюда Корней Ямб, согласно плану, должен был продолжать путь один в оливкового цвета "Меркури", упорно поднимаясь вверх.

Дорога извивалась все круче и требовательнее; камни, небрежно разбросанные повсюду и помогавшие в распутицу, теперь мешали, угрожая аварией. Лес кругом, порою, впрямь заслуживал названия мачтового: каждое дерево в два обхвата легко и нарядно вздымалось высь. И синеющее небо с разлитой по краю славою заката бросало суровый священный отблеск.

Смеркалось неровно, скачками. Совсем недавно путник впервые заметил, что солнце начинает скатываться в пропасть; не прошло и четверти часа, а уже густая первобытная пелена осьминогом обступила машину, высасывая последние дневные соки. Впрочем, через мгновение, поднявшись спиралью по грунтовой дороге на очередной бугор, проезжий опять погружался в радугу вечерней зари.

Человек за рулем выглядел еще молодым, сильным и усталым. Выражение потного небритого лица, грязные обнаженные руки, пыльный свитер, сутулящиеся атлетические плечи — все свидетельствовало о том, что в настоящее время самым желанным для путешественника были бы душ, горячие щи, стакан вина, постель (быть может, поцелуй молодой бабенки на постоялом дворе).

Это впечатление вполне соответствовало действительности. Корней Ямб находился в пути уже неделю, и теперь ему назойливо мерещился гостеприимный трактир, жаркое, кружка пива. Все это приходило ему в голову снова и снова, даже с некоторой навязчивостью, по мере того как дорога становилась хуже и глуше, опаснее (если не для самого шофера, то для машины). В котловинах уже окончательно осела густая ночь; ветер шумел враждебно над головою. Близость теплого крова и краснощекой

служанки в этих местах казалась совсем маловероятной.

— Р-р-р-роо! — завывал мотор на второй скорости, выгребая на бугор.

— Фить-фить-фить, — развязно налетал ветер и сразу оступался в овраг.

Можно было различить много запахов, знакомых с детства, и потому, должно быть, путник чувствовал себя одиноким сиротою. Думать казалось делом хлопотливым и бесполезным: надо ехать, пока хватит горючего, стараясь не заблудиться.

Старый "Меркури", крепкий, упитанный, с широким литым задом, уже несколько раз всхлипывал, заикался (на высокой ноте), что свидетельствовало о пустом баке... (Впрочем, при резком крене весь бензин уходит в один угол).

— Этого еще недоставало, — поморщился Ямб. — Ночевать здесь, утром бежать с бидоном, черт знает куда. Этого еще нехватало — вместо поросенка, вина, воображаемой девки.

Он остановил машину и, приоткрыв дверцу, выглянул, слушая, нюхая. По тому как он спокойно и умно смотрел по сторонам, словно ощупывая лес, сумерки и шероховатую дорогу, чувствовалось, что это солдат или спортсмен, знакомый с лишениями на суше и на море, отсыпавшийся с товарищами у костра или в одиночестве на скамейке городского парка.

Кругом все так же пусто и тихо; только пахнет гнилью, туманом и смолою (или скипидаром). Неподалеку, у ложбины, две глубокие рыхлые колеи косо отходили от грунтовой дороги. Ямб включил огни и осторожно тронул машину в том направлении: свирепые концентрические фонари вырвали из небытия сонм мотыльков, закружившихся точно в русской метели: путник понял вдруг, что он не один в глуши... (Так, на другой планете, сын земли, встретив подобие боа констриктора или тарантула, родственно раскроет ему объятья).

Перемахнув через канаву, аккуратно выложенную хворостом, машина поднялась наизволок к просеке и вскоре уперлась в землянку с одним окном, из которого торчала жестяная труба; потянуло, кажется, дымом.

Вместо окрика путешественник несколько раз подряд перевел свет фар, точно обладая поляну то холодным, то горячим душем. (Он ценил это чувство Прометея, когда нажимаешь по-

дошвою кнопку и сразу рождаются чудесные мощные снопы лучей).

Из темного отверстия высунулось нечто черное и неповоротливое: человек, орангутанг или медведь. Путник рассудил, что это брат его во Христе и крикнул:

— Где я нахожусь? Как далеко до ближайшего селения? — голос без всякого усилия звучал строго, начальственно. Лохматая тень вывалилась из землянки, выпрямилась, подтянулась и отапортовала:

— Здесь до самых Озер только леса по обе стороны границы; леса, болота да овраги.

— А ближайший городок какой тут будет, чтоб заночевать?..

Кудлатая голова, измазанная сажею и пропахшая скипидаром, придвинулась к окошку; почесывая одной босою ногой другую, мужик нерешительно протянул:

— Тут на канадской стороне в семи милях деревня, но вряд ли там примут на ночь чужого.

— А в гостинице? — бедняге все еще мерещились борщ, водка, мягкая перина.

— Нету там ничего такого, не водится у колонистов, — извиняясь за их невежество, снисходительно докладывал мужик, почесывая твердой, как копыто, пяткою другую босую ногу. — Если угодно заночевать здесь, милости просим, — предложил, заикаясь. (Ямбу не удалось разобрать с каким чувством было это сказано). — Только вот комары и блохи, страсть... не стоит ехать на каникулы для такого зверинца, — теперь он ухмыльнулся явно насмешливо.

— Семь миль, говоришь? — переспросил путник, видимо уже решив ехать дальше.

— Да, сюда, вверх и в гору, но только по главной стезе, не сворачивая на тропочки помельче! — с готовностью внушал лесной человек, радуясь, что его оставляют в покое.

“Меркури” судорожно развернулся, заднее колесо, было, начало буксовать, но мощный мотор сразу рванул машину вперед. Осторожно мигнули огни — малиновый сзади дважды вкрадчиво вспыхнул на спуске, точно подавая таинственный, долгожданный сигнал.

Опять потянулся сказочный бор: атлетические стволы скрипят, расправляя могучую грудь; глухой шум вверху, свист налетевшего вихря, запах трясины, мха, сосны. Ухабы, колдобины, гигантские тени: словно это они кренят автомобиль, подбрасывают. А далеко в небе с бугра видно зеленое лезвие догорающего за морем, но все еще живого солнца.

Семь миль даже при такой езде не могут продолжаться больше двадцати минут. Корней закурил последний "Честерфилд": при свете спички выделилась тяжёлая челюсть и большие, сложенные ковшиком руки. Опять унылое покачивание, сонм слепых мотыльков и гранитная глыба, выразительно склоняющаяся над обрывом.

— Фить-фить-фить — порхает легкомысленно ветер и вдруг исчезает, свалившись в овраг. — Уох-уох — простонет седая сова.

Неожиданно впереди мелькнуло и дрогнуло нечто крупное и живое: высокая женщина в длинном, почти до земли, платье выступила из-под ели на дорогу. Жмурясь от яркого света фар, она величественно протянула руку вперед.

Затормозив (но не выключив мотора), Ямб отворил дверь и высунулся из машины. Тут к удивлению и даже испугу проезжего, женщина вдруг обняла его и начала бурно целовать. Это продолжалось довольно долго, и Корней уже сам попробовал присосаться губами, но незнакомка, оторвавшись, тяжело перевела дух и счастливо засмеялась; голосом грудным, низким и ровным она произнесла:

— Вернулся! Я знала.

Ее шелковистые льняные волосы были покрыты странным кружевным чепцом; карие, широко расставленные глаза показались Ямбу грустными или испуганными. Она залилась тихим смехом, опять ловко и умело присосалась к его губам, кусая, смакуя. И путник вдруг каким-то чудом ощутил целиком все ее крупное, зрелое тело под темным платьем со шнуровкой корсажа посередине широкой, но невысокой груди.

Женщина уселась рядом и молча показала рукой на едва заметную, убегающую под изволок тропу. Корней вел машину одной рукою, почему-то упорно вспоминая сирень: представлял себе фиолетовые гроздья, подобные винограду... Вначале он по-

думал, что близость незнакомки навела его на эти образы, но вскоре сообразил (и с интересом отметил про себя), что они продвигаются по узкой аллее, обсаженной густыми кустами весенней сирени. Было темно, женщина нежно и жадно прижималась; душистые цветы накрывали чету подобием восточного балдахина.

Ямб осторожно правил левой рукою, другой обнимая прильнувшее к нему горячее, живое тело. Ее губы, солоноватые, мокрые, зло и щедро работали над его ртом. — Ведь подаст же Христос нищему в окно не только кромку хлеба, но целого гуся! — проносилось в ошеломленном сознании. — Вот так баба! Насквозь развратная баба! — блаженно содрогался он, радуясь именно этому последнему обстоятельству. — Спросить как зовут, из вежливости, что ли? Или ничего не болтать пока? Вот так подарочек солдату на чужой стороне! — и он все страстнее и беззаветнее припадал к податливому стану.

— Куда ты? — очень трезво и удивленно осведомилась она. — Нам сюда.

Корней повернул направо, и "Меркури" начал из последних сил карабкаться по круче: фары вырвали из мрака хоровод фруктовых деревьев в провинциальных белых уборах. Вскоре выступили сбоку темные прочные строения; бревенчатый настил заскрипел под колесами: снизу мерный шум воды. Они выехали на расчищенную площадку и уперлись в огромный, крытый драницей амбар с настежь распахнутыми сквозными воротами. (Запахло сеном, молоком, навозом.)

Выключив мотор, Корней был буквально потрясен сразу наступившей весомой тишиной и неподвижностью. Сперва казалось совершенно невозможным что-либо разобрать в темноте. Но постепенно опять повисли четкие созвездия, оторвавшиеся от Млечного Пути (похожего на санный); затем в непосредственной близости обрисовались синие контуры жилого дома с громоздким крыльцом, широкими ступеньками и крытой верандой. Ямб включил было снова фонари, но женщина жарко шепнула:

— Не надо, милый, дай руку.

Он послушно побрел, спотыкаясь, точно с завязанными глазами. Переступив через порог, женщина сразу нашарила спички

и, чиркнув, зажгла свечу (пахнуло серой).

Ямб разглядел овал стола, угол печи и ряд сверкающих кастрюль на стене. Кухня, в которой они очутились, казалась очень просторной и поражала полным отсутствием современных установок, приборов, кнопок. Перед таким очагом в зимние вечера долго едят и пьют члены дружной трудовой семьи: их шутки просты и вкусы неприхотливы. (Гость бегло, но внимательно оглядывал комнату.)

Из отодвинутого печного заслона полыхнуло жаром древесных углей; зашипела головешка, обданная водой и, нагнувшись, хозяйка ловко выдвинула тяжелый чугунок в ореоле пара и соблазнительного запаха. Стукнули тарелки, звякнуло серебро, и через минуту уже блеснул жирный, вкусный круг горячих щей.

Корней облил руки и шею холодной водой из ковша и, торопливо вытершись грубым полотенцем, потянулся к столу, на котором красовался нарезанный толстыми ломтями ржаной хлеб; ледяная гора масла возвышалась на блюде. В открытых солонках сверкала крупная сухая каменистая соль.

— Выпьешь нашего вина? — спросила и, не дожидаясь ответа, налила стакан бледновато-желтой яблочной водки.

Ямб с наслаждением осушил бокал "Applejack" и тотчас же, гогоча всю утробу, набросился на щи. Женщина опять наполнила стакан, и он, походя (перебирая пальцами по столу точно по клавишам пианино), выпил.

Она под села близко, удивленно и настойчиво следя за каждым движением гостя. В перерывах между глотками и жеванием он тоже искоса обшаривал глазами всю ее фигуру. Женщина не была красива; самым притягательным в ней казалась зрелость. Тот предел развития сильного летнего бабьего тела и духа, вслед за которым обычно наступают первые заморозки и зимняя ночь. Вблизи, на табурете, она производила впечатление еще более крупной и величественной (даже чересчур).

Корнея (вообще ценившего маленьких нервных темных красавиц с точеным бюстом) теперь почему-то прельщала именно монументальность новой знакомой. Осклабившись, он вдруг усадил ее к себе на колени: развязав шнурки корсажа, начал целовать. Она осторожно потянула его к широким нарам, накрытым яркой, домашней работы тканью, у стены. По дороге,

смущенно улыбнувшись, задула свечу (в печи обиженно вспыхнули хищные глаза).

Вскоре восхищенный Корней поднялся и городскими спичками (удивившими его здесь) зажег два красных огарка в тяжелых медных подсвечниках. Снова подсел к столу. Слегка только оправив платье, она охотно налила ему вторую миску супа, подбросила мяса, предложила водку.

— Как тебя звать? — покровительственно осведомился Корней, уже целясь ложкою в застывший пудинг.

Женщина, не отвечая, прошла в соседнюю комнату; слышно было, как взбивала подушки. Доски пола скрипели под ее ногами.

Обняв его сзади, она молча повела Корнея в спальню. Там, в центре, на темном вошеном полу стояла квадратная постель с альковым. Сосредоточенно разоблачившись при свете одного огарка, они жадно нырнули в жесткие холодные сурового полотна простыни. (Над головой колыхался балдахин — будто парус полоскался.)

Тут она проявила такую наивную и безудержную страсть, что Корнею оставалось только смущенно и горделиво изумляться.

— Что за развратное существо, — шептал он при наиболее рискованных маневрах, подстрекая себя. — Насквозь развратное существо. — И эта ругань, странным образом, действовала на него возбуждающе. А женщина, зрелая, крупная, немного страшная, лежала рядом без слов, с решительным, почти каменным лицом.

Корней то и дело выходил на кухню, пил сидр, обливался холодною водою и, возвращаясь, порывался вести дружескую беседу. Разного рода подозрения давно уже беспокоили его. Кажется, его принимают за кого-то другого... Предположение логичное, но не все объясняющее. Возможно, что она попросту сумасшедшая. Мелькала дикая мысль: если с ним теперь покончат при помощи ножа или яда, то никто этого не узнает. Зароют или сожгут тело в дремучем лесу. Впрочем, усталость и бесстыдные объятия неутомимой, вдохновенно-страстной бабы парализовали его умственные способности. Корнея хватало теперь уже только на самое главное, чего от него, видимо, ждали.

Иногда, впрочем, он становился не в меру болтливым и начинал вдруг рассказывать о приключениях в Корее или о том, как он, голодая, продавал кровь для Красного Креста в большом городе.

— Как тебя звать? — словчился он опять было спросить, но получил в ответ такого тумака, что балдахин над головою заходил ходуном. Ярость партнерши была до того непритворной, что Корнею показалось уместным всякими искусными ласками снова приручить ее. Ночь тянулась, перемещаясь из ада в рай и обратно, точно обе эти окраины лежали совершенно по соседству.

Он очнулся под балдахином, когда уже светало. Деревенская лесная тишина; кудахтанье кур и лай дворняжки за гумном. Густой студеной воздух, ароматный, как фруктовый сок (или кумыс). И звонкий, хрустящий спокойный лак добротности, полноты, ценности на окружающих предметах.

Альков над головою (вроде портативного неба) не мешал разглядывать просторную комнату с беловато-гладкими известковыми стенами. Между двумя окнами стройный бледно-желтый комод; наспротив, вдоль другой стенки, шкаф орехового дерева. Дубовый чистый воощеный пол и в тон к нему занавески на четырех окнах. Окна тщательно вымыты; они разделены на девять прямоугольников... Что-то в пропорции длины и ширины стекол производило особенно умиротворяющее, целебное действие (как и полагается подлинному произведению искусства).

У изголовья, с обеих сторон кровати, висели в рамках две вышитые по канве цветные надписи с наивным орнаментом; близко к себе Корней легко разобрал готический шрифт:

Ипата Жамб
ко дню венчания
4/27/52

У него почему-то резко стукнуло несколько раз подряд сердце; быстро приподнялся, чтобы рассмотреть рукоделие с противоположной стороны. Но кровать жалобно скрипнула, пол прогудел в басовом ключе, и женщина, монументальная,

крупная, как статуя, проснулась: села (утопая в небе), блаженно и несколько деревянно улыбаясь. Оказалась она еще крупнее, чем представлялось ему давеча, вся желтоватых красок: волосы, кожа, даже глаза (невразительные, с маленькими, скупыми зрачками). Самым бесспорным, прекрасным в этом лице был нос: нежный и занимающий много места, нарядный, многогранный, расширяющийся и одновременно загибающийся кверху своими тонкими лопастями. Этот нос расцветал откуда-то из глубины, из внутренностей лба, казалось, распространяясь за пределы трех измерений; тоже желтоватый (слоновой кости), прозрачный, легкий и крупный, отчетливый во всех планах. Не нос, а драгоценный музыкальный инструмент. Корней опять прильнул к этому органу, мучительно утоляя ненасытную жажду любви, совершенства, оплодотворения или воскресения.

Она покорно и непричастно отдавала себя в его распоряжение, по-видимому уже озабоченная дневными обязанностями. Из соседней комнаты, весьма кстати, послышался крик, быть может, плач.

Женщина вырвалась из объятий; накинув глухую рубаху сурового полотна и накрыв льняные волосы чепцом, она, тяжело ступая, подошла к одностворчатой, орехового цвета двери и распахнула ее.

— Фома, — сказала она своим низким и ровным голосом. — Иди знакомиться с отцом.

Тотчас же в ответ мальчик лет семи проковылял по комнате, задрав голову на Корнея, точно перед небоскребом. Тщедушный, бледный, он хромал: правую ножку подпирали металлические бруски протеза.

Появление ребенка при таких обстоятельствах напугало и возмутило гостя. Он решил, что пора положить конец соблазнительной игре.

— Что ты, что ты, как тебе не совестно! — вскричал он, суетливо натягивая рубаху.

Но Фома, озираясь по сторонам с хитрой гримасой, уже подпрыгнул вплотную и доверчиво обнял голые ноги гостя.

— Поцелуй папу, — приказала женщина, и мальчик послушно потянулся вверх.

— Ладно, ладно, — согласился Корней, потом гневно доба-

вил. — А теперь спроси мамочку, как ее зовут!

Мальчик шаловливо осклабился и повторил:

— Мамочка, как тебя зовут? — Выполнив долг, он, не дожидаясь ответа, нагнулся, выдвинул из-под широкой постели маленькую детскую кроватку, похожую на гробик. Там на тугих крошечных подушках лежала фиолетовая кукла в костюме матроса. Фома поднял куклу и, хищно улыбаясь, начал выворачивать ей суставы рук, ног, позвоночника, но члены арапа не ломались, только принимали самые вычурные, болезненные формы.

— Этот матрос ему теперь больше не нужен, — спокойно объяснила женщина.

— Понимаю, — поспешно согласился Корней, ошеломленный, опять ощутив какой-то зловещий ужас. "Я, очевидно, попал в сумасшедший дом, вот и все", — успокаивал себя.

— Мы должны, душечка, наконец, объясниться! — как можно проще сказал он. — Шутить детьми я не позволю.

Женщина мельком взглянула на него и опять отвернулась, подставляя профиль своего плоского, каменного средневекового лица и нежный, нарядный, тонкий, похожий на античный инструмент, нос. Ему вдруг стало жаль ее: великолепный вымирающий зверь, которого дикарь собирается убить и съесть. Корней хлопнул мальчишку по плечу и сказал:

— Ты, молодец, ступай во двор играть, я скоро к тебе присоединюсь.

Между тем солнце ударило в угол крайнего окна, и спальня сразу заиграла (загудела) красками. Мебель вскрикнула орехово-каштановыми тонами; пол — воском, медом, лаком. А реплика цветков и орнаментов, рассыпанных по занавескам, одеялам и дорожкам, оказалась вполне кстати.

— Послушайте, — начал Корней, невольно любуясь богатством, льющим из окна. — Пора кончать забаву. Я не позволю... — и опять уткнулся в ее неподвижный горестный лик, покорно склонившийся словно для последнего удара. Он замялся: "Как вас зовут, honey?"

В это время радужные стрелы заиграли на канве с противоположной стороны постели, и Корней неожиданно легко разобрал вышитую крестами надпись:

*Конрад Жамб
ко дню венчания
4/27/52*

— Что это такое? — строго осведомился он.

Не поворачивая головы и словно не дыша, отозвалась:

Это ты, неужели забыл?

— Мое имя пишется Ямб, через игрек! — гневно завопил он.

— Не знаю, — оправдывалась она, отступая. — Всегда было Жамб, через джэй, а не уай.

— Нет, здесь сумасшедший дом! — успокаивал себя Корней. — Ямб — Жамб, Корней — Конрад, что это такое, наконец?"

— Послушайте, душечка, — начал он примирительно, как всегда в трудных случаях готовый вместо губительной лобовой атаки прибегнуть к сложному маневру, — давайте выясним теперь самое главное...

Женщина стояла перед ним в домотканой сорочке на крупном зрелом вдовьем теле, беспомощно опустив сильные голые необъятные руки; ее восковое каменное тяжелое лицо служило как бы цоколем для прекрасного, сложного, драгоценного, не уместящегося в трех измерениях носа. А глаза, внимательные, сухие и скупые, выражали предельную боль земного существования. Точно скотинка, которую долго гнали по снегу или в засуху, везли в теплушках на убой; или лучше — словно мать, вынужденная смотреть, как мучают, пытаются ее первенца, не в силах помочь ему!

Эта статная фигура, знакомая и устрашающая, застыла перед Корнеем, опустив свои длинные веснушчатые хозяйственные руки и покорно дожидалась (может быть, уже годы) суда, казни.

— Послушайте, — морщась точно от зубной боли, снова начал он, — послушайте, это все, я уверен, легко объяснить! — и смолк, боясь сказать лишнее. В сущности, его тянуло к машине: сесть и помчаться сломя голову, кто его догонит! Но память о друзьях, оставленных позади и доверяющих своему начальнику, сковала волю Корнея. Растерянный, он, однако, продолжал,

заикаясь. — Эти ласки, сударыня, поверьте, никогда не потеряют основной прелести...

— Тебе бы не хотелось позавтракать? — очень просто осведомилась она. — Меня зовут Ипатой. Ипата Жамб, или Ямб, тебе виднее.

— Позавтракать? — вцепился Корней, даже повеселев. — Отлично, можно позавтракать. Только я ничего не понимаю! — вырвалось у него вдруг. (Такое чувство, вероятно, испытывает молодой летчик, когда вдруг догадывается, что не он управляет самолетом, а сидящий рядом инструктор.)

— Ты помоешься перед едою? — опять трезво спросила она.

Ошеломленный, он схватил грубое вышитое полотенце (похожее на украинское, только пошире и длиннее).

— Где тут ваши разные удобства? — резко спросил.

Женщина повела его наружу. Уборная высилась на задворках (за сараем и другими службами). Пахло сосновой стружкой; тяжелая, похожая на жернов, крышка приподнималась с пола, открывая в досках круглую дыру, ведущую в омут. С крыши свисала сетка из толстого шнура, куда собирали бумажки (чтобы не переполнять отхожее место). Тяжелые перламутровые мухи парили над головою.

ГЛАВА ВТОРАЯ

в которой гость знакомится с хозяевами

Корней опять уселся за обширный стол перед той самой печью с покрытыми гарью кирпичами, откуда давеча Ипата доставала жирные щи (на полке, сбоку, возвышалась милая плетеная бутылка с яблочной водкой). Во всех линиях и плоскостях этой громоздкой благородной кухни скрывалось нечто упорное, честное и успокаивающее (как, впрочем, и в пропорциях окон, дверей, балок потолка). На свежей тяжелой скатерти, похожей на шахматную доску, стояла голубая миска с большими розовыми оладьями; пахло горячим маслом и приторным

кленовым сиропом. Кофейник и чашки — массивные, яркие и прочные, радовали глаз, нос и даже ухо.

— Ты любишь итальянское кофе, — сказала Ипата, поворачивая к нему каменное крупное лицо, но глазами следя за огнем в печи. — Я давно спрятала для тебя горсть зерен.

Корней промычал что-то невразумительное в ответ и отхлебнул полкружки ароматного, свежеразмолотого кофе. Оладьи тоже оказались вкусными, сочными.

— Ты ешь оладьи? — удивилась женщина. — С каких это пор?

Гость жевал, не отвечая: действительно, в общем, он не любит этого теста. Но откуда она знает? Какой-то дневной кошмар! — думал он. (По-английски получался даже каламбур: a day nightmare).

Фома навалил себе гору оладьев, обдал растопленным маслом, затем сладким сиропом и начал уписывать, подражая Корнею: целиком! Еда застревала в его детской, птичьей глотке, и тогда чета за столом с ужасом, но не без любопытства следила за этим комом пицци, раздувающим горло мальчика. Нос у Фомы был материнский: нежный, изгибающийся вверх (всеми плоскостями). Глаза побольше, чем у Ипаты, только пронираливые, пожалуй, наглые.

— Ты не обязан подражать отцу, — заметила, наконец, мать. — Разрезай каждую ножом на четыре части. Теперь он с тебя будет брать пример! — обратилась она к Корнею и неясно было — довольна женщина этим или, наоборот, опечалена.

Корней уже хлебал вторую чашку кофе, дожидаясь яичницы с поджаренным коричневым салом, когда со двора донесся лай собаки, шум шагов (точно несколько человек ступали в ногу) и скрип крыльца.

— Папа идет, — возвестила хозяйка, обводя стол, комнату и завтракавших значительным взглядом. Оправив лиловый корсаж и кружевной чепец, она прошла к двери.

В кухню быстро и ловко ввалился очень крупный, тучный, похожий на раздутое голубиное яйцо, великан с рыжей бородой и седой редкой шевелюрой (брови были комбинацией обоих цветов: толстые, мохнатые гусеницы, жившие, казалось, своей автономной жизнью). Голова старца (тоже похожая на яйцо), без

шей, росла прямо из плеч; багровое одутловатое лицо с темными жилками и младенческая, не соответствующая всему облику улыбка пепельно-голубых, беспомощных глаз придавали этому колоссу выражение болезненной хрупкости. Короткие ноги, обутое в бесформенные сапоги, как бы самостоятельно гнались вслед за железной палкою, спешившей впереди и словно нащупывавшей дорогу. Но продвигался старец бодро и с таким уверенным грохотом, что Корней не сразу догадался, что перед ним слепой!

— Ипата, Фома! — прогремел гигант. — Прочь! — в сторону Лабрадора, зарывавшего на чужого; и сразу повернулся всем существом к Корнею, приняв хиваясь красными широкими ногами.

Отец, он вернулся, — сдерживая волнение произнесла Ипата. — Конрад вернулся вчера ночью. Я говорила — так будет.

Патриарх переложил витую железную палку в левую руку и смело протянул правую Корнею, сверху вниз.

— Добро пожаловать, сын! — прогудел он. — Вернулся. Вот, я говорил — не надо уходить. А все-таки, дождались. Праздник. Как просто.

Рука старца мохнатая, теплая, розовая; ладонь Корнея утонула в ней бесследно, а по всему телу прокатилась волна детского благополучия.

— Здравсте, — развязно промолвил Корней.

— Повтори, повтори громче, — гремел рыжий старец. — Зачем шептать и скрывать мысль. Что прекраснее голоса и слов? Только человеку это дано, и птичья песня — хилый лепет по сравнению с нашей речью. Голосом надо пользоваться вовсю! — действительно, патриарх (слегка напоминающий мамонта в музее естественной истории) гремел то нежно и вкрадчиво, то свирепо, но одинаково величаво.

— Это с тех пор, что ты ослеп, отец, — заметила Ипата, внимательно следившая за мужчинами; лицо ее было по-прежнему неподвижно и землисто-желтовато. — Раньше ты говорил гораздо тише. Мы завтракаем, отец: тебе яиц, кофе?

— Тут блины, дочь! — рокотал старец. — Фома, накорми голодного.

Фома, косо поглядывая на мать, навалил деду гору оладьев. Слепой грузно уселся, расправил салфетку и, очень ловко найдя все необходимое на столе, смачно занялся едою, не прерывая, однако, беседы.

— Что же, сынок, рассказывай. Ты долго блуждал по свету. А мы здесь любили тебя и ждали. Объясни, пожалуйста.

Массивные оладьи, обданные горячим мутным маслом, сдобренные чистым, янтарным сиропом, без помехи исчезали в его широкой пасти. Дочь смотрела окаменело, но глаза ее опять напомнили Корнею раненую (стонущую) зрелую лань. Слышно было бодрое позвякивание ножей и вилок, постукивание тарелок и чашек; изредка раздавался визг Фомы, пытавшегося по-своему шутить:

— Папа, почему ты все озираешься?... Дед, а дед, ты когда ослеп...

Могучий лоснящийся Лабрадор несколько раз сердито менял место, пока не уgomонился возле громоздкого древнего веретена.

— Ну, сын, болтай! Расскажи о людях и Боге, что в большом городе.

— Вы так выражаетесь, точно готовитесь читать проповедь, — осторожно усмехнулся Корней.

— Я — пастор и проповедник, что же тут удивительного! — старец простер руки над столом, точно призывая слушателей в свидетели. Лабрадор с готовностью приподнялся и зарычал.

Ипата сосредоточенно и горестно смотрела перед собою.

— Неужели тебя это удивляет? — повторил слепой великан.

— Нет, — твердо отозвался Корней. — Но мне никто не говорил, что вы — пастор, и я вас вижу в первый раз.

Женщина поднялась, прямая, крупная, и передвинулась к окну (в комнате померкло); на стене по обеим сторонам печи неподвижно сверкали кастрюли, сковороды, котелки, таганцы. С потолка свисали пучки сухих трав, стручки, корешки, картофелины. Лабрадор опять ошетинился и прошел в противоположный угол к кадке. Фома, скаля мелкие зубки грызуна, раскатывал хлебные шарики. Все молчали.

— Ешь, ешь, Фома, — опомнился первым старец. — Что же яичница, дочь?

— Забыла, — усмехнулась та.

В комнате теперь пахло горелым. Сало обуглилось и хрустело на зубах. Ипата сразу подала теплый свежий торт с мятою; запах этот оказался приятнее вкуса. Разговор не клеился больше.

— Что ж, сынок, пройдемся по селению, — предложил рыжий. — Всяк будет рад приветствовать мужа Ипаты. Только курить при мне негоже.

Корней послушно спрятал полупустую обожженную трубку и побежал в спальню за пиджаком: ему не терпелось остаться наедине с пастором. Пригладив волосы перед зеркальцем, он вернулся на кухню, и тут его поразило бледное лицо Фомы с выпученными от страха глазами. Ипата, очевидно, спорила о чем-то с отцом: она производила впечатление величественной заложницы, готовой принять муку за свою веру. Старец, почувствовав близость Корнея, перебил дочь подчеркнуто беззаботным голосом:

— Скоро узнаем, скоро узнаем. Пошли! — стукнул он железной палкой. — Фома, в школу!

Утро наступило, вероятно, самое обычное для этого края, потому что ни грозный старец, ни Фома, ковылявший впереди, ни Лабрадор, петлявший сзади, не обращали внимания на всю славу Господню, разлитую в небе, на суше и даже над водою. Только Корней с непривычки блаженно жмурился, упиваясь блеском и запахом густого (полосами разогретого, полосами студеного) воздуха, соединяющего в себе память о лесе, прудах, пшеничной муке и черемухе; он бессознательно подражал движениям слепого гиганта, с легкостью зрелого бизона лавировавшего между островами трав, цветов, огородов, стремительно пересекая по узким мосткам нежно шелестящие внизу потоки. Сзади трудно было догадаться, что проповедник слеп, так легко и уверенно он шаркал сапожищами, видимо, больше руководствуясь игрою света и теней, тепла, запахов, чем клюкою. (Порою Корнея охватывало сомнение: полно, слеп ли рыжий, хромает ли Фома, только ли собака Лабрадор, незримо стерегущая гостя.)

Поселок, расположенный на довольно ровной площади, был окружен грядой покрытых лесом холмов. Посередине селе-

ния простирался прямоугольником ровный зеленый пустой луг — вроде огромного пруда, обрамленного рядом мирных строев. Там, дальше, тянулся сплошной бор, изрытый оврагами и ущельями, по которым стекали ручьи, собираясь в реки и озера или образуя стоячие пруды и болота.

Луг в центре селения напоминал по форме версальский пруд (вместо лебедей по зеленой глади гордо передвигались две белые курчавые ламы). У основания этого поля, господствуя над ним, возвышалось старинное белое здание с двустворчатою дубовою дверью: туда со всех сторон, поодиночке и группами, теперь стекались дети, неся темные мешки, сумки и учебники.

— Какая прекрасная школа, — восхитился Корней.

— Это наш молитвенный дом, — поправил его пастор и резко повернул к строгому, пуританских линий восковому крыльцу.

Из желтых двустворчатых нарядных дверей с черными железными скобками показалась смуглая молодая женщина в синем платье с белым корсажем и в чепце, кокетливо сдвинутом слегка набок.

— Доброе утро, проповедник! — бойко крикнула она, разглядывая Корнея с таким любопытством, что ему почудилось: у нее, по меньшей мере, дюжина юрких миндальных смысленных глаз.

— Здравствуй, коза! — охотно откликнулся старец. — Зять вернулся вчера ночью, муж Ипаты. А это Талифа, наша учительница.

— Очень-очень приятно, — жеманно приседала смазливая учительница.

Деревянный, снежно-белый на солнце, сухой и лирический молитвенный дом; восковая дверь с железным орнаментом; на крылечке загадочно улыбающаяся хорошенькая Талифа... А там, дальше, сияющее небо, покрытая свежим лаком зелень рош и садов, запах суровой весны и торжествующий клекот перелетных птиц. Корней был расстроган; но, несмотря на это, мысленно отмечал и запоминал все особенности топографии и месторасположения.

Строения, как он уже понял, тянулись вокруг большого луга; большинство жилых домов стояло по одну сторону этой по-

ляны; по другую — находились мастерские и склады (оттуда доносился шум молота, плеск падающей воды, визг пилы). Церковь, очевидно, разделяла эти два вида построек. А напротив молитвенного дома, за последней, четвертой стороной прямоугольника, начинался лес, виднелись плотины, и темнели крытые мосты, похожие на фургоны. Там сеть протоков и каналов переплеталась, расширялась, превращаясь в систему, уводящую к Большим Озерам. Меж оврагами и прудами, кое-где на гривах и холмах обозначались еще глухие бревенчатые избушки и бродил казавшийся мелким рогатый скот. Еще дальше горы, поросшие гигантской хвойной растительностью. Площадь производила впечатление расчищенной в бору; девственный лес хотя и отступил, но беспрерывно давал о себе знать, как, впрочем, и бурные воды, которые при весеннем разливе, должно быть, подступали к самому горлу очагов, угрожая существованию поселенцев.

Наконец, пастор с Корнеем отошли от крылечка: учительница, окруженная клумбой детворы, не переставала приседать и махать им вслед ручкой.

— Господин проповедник, — решительно заявил Ямб, — мы должны теперь откровенно объясниться!

Они брели по теневой стороне луга (на солнце становилось уже жарко), приближаясь к большому сараю из драниц, от которого во все стороны распространялся как бы стук упрямого сердца: тук-так, тук-так... Два молота — один потяжелее, другой полегче — ритмически падали на звонкую наковальню. Корней прислушивался к этому звуку с тем болезненным вниманием, с каким следишь за биением собственного сердца.

— Простите, я не понял что вы сказали.

— Ну да, ну да, ты меня совсем не слушаешь, — добродушно заметил гигант. Я сказал и повторяю — тебе придется опять привыкнуть к старому порядку жизни. Постепенно, конечно.

— Я уже несколько раз пытался вам растолковать, — начал осторожно Корней, — что меня здесь, кажется, принимают за кого-то другого.

— Ну, эта проблема нас заведет слишком далеко, — беззаботно отозвался слепой. — По утрам надо трудиться, изучать математику или теологию, а вечером, на досуге, за стаканом

сидра, можно и пофилософствовать. Мы все принимаем себя и других за нечто, не соответствующее действительности. Между восприятием реальности и самой реальностью часто пролегает бездна. Редкий мудрец видит предметы в точной перспективе.

— Нет, я не об этом, — усмехнулся Корней. — Не о философии речь. Извините, пожалуйста, но я не муж Ипаты и никогда ее раньше не знал! — он облегченно вздохнул и сжал свои объемистые кулаки, словно готовясь к физическому отпору.

— Мне сказали, что у тебя была амнезия после ранения, — задумчиво произнес старец, останавливаясь на мостках вблизи амбара, похожего на губку или на огромного ежа. — Там, в Чикаго.

— Ах, вот как вас осведомляют! — рассвирепел Корней. — Нет, это у вашей дочки частичное умопомрачение, и она не помнит, с кем прижила ребенка в Чикаго.

Тучный старец начал синеть и раздуваться самым устрашающим образом; желтые пятячки выступили на его лице, лбу (огромном, благодаря лысине посередке головы). Корней тихо продолжал:

— Отец, я отлично помню прошлое. Там нет места для жены и ребенка. В другое время я считал бы за честь, но меня смущает Фома! Дети — святыня, и я не буду шутить таким делом. Откровенно говоря, мне бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах Ипата вернулась сюда из города.

— Ты утверждаешь, что не знал Ипаты. И приехал к ней ночью, улегся в постель с моей дочерью, так? — рыжий явно сдерживал себя, но голос его походил на рычание голодного льва. — Ты не отец Фомы?

Вот в этом я готов поклясться. Здесь все ясно.

Ты уверен?

Совершенно.

Почему, собственно? Память тебе служит порукою?

— Да, память. Восемь лет тому назад я был в Европе и не с Ипатой.

— Оставим пока Ипату. Поговорим о твоей жизни! — пастор опять остановился в тени: через несколько шагов начиналась прогалина, вся открытая жаркому солнцу (он, по видимому, это почувствовал или — знал). — Ты говорил ночью,

что продавал свою кровь Красному Кресту? — нетерпеливо спросил он.

— Ну да, — подтвердил Корней, отмечая с удивлением, что старику уже известно это. — Я хотел поведать, как люди ловчат в городе, когда нуждаются в деньгах. Так многие делают, что тут плохого!

— А семени там никто не покупает?

Корней вдруг содрогнулся: точно внутри его лопнула тетива и гибкий лук, разогнувшись, хлопнул его по самым чувствительным органам.

— Раз было, — мучительно выдавил из себя. — Я пришел к знакомому доктору и получил, кажется, пять долларов.

— Как же быть уверенным теперь? Любой младенец может быть твоим! — рокотал рыжий старец, оглушая собеседника. (Корней молчал, ошеломленный, но все же отметил сеть плотин и каналов, расширявшихся и умножавшихся вдали.) — Вот твоя хваленая память! — торжествовал проповедник. — Куда она тебя ведет? Помнишь ли ты о своем существовании до рождения, бессмертное, безначальное существо?

Откуда-то пахнуло вдруг разогретой сиренью. Корней сообщил: дорога, по которой он давеча приехал и эта, простирающаяся впереди, соединяются где-то позади оврагов.

От плотин, из амбаров и высоких, крытых драпировкой, мастерских, выступали парами и в одиночку тяжелые дяди, разного возраста, но все одетые словно статисты в старинном историческом фильме. Чистые голубые (в полоску) рубахи и такие же свежие штаны; серые фартуки (сурового полотна) и кепи, синие, белые, серебристые. Вытянувшись лентой на манер религиозной процессии, они, наконец, приблизились и грозно обступили беседующих у обочины прозрачного луга.

— Я понимаю, — соглашался уже Корней, быстро оценив опасность положения; со стороны школы бежали две женщины в чепцах: Ипата и, должно быть, смазливая учительница. — Мне хотелось только подчеркнуть, что совсем неизвестно, кто я на самом деле. Вот, например, один говорит — "Я". И другой говорит: "Я"... Чувствуют ли эти люди нечто различное при этом или совершенно то же самое? Вот в чем, так сказать, вопрос! По каким признакам "Я" узнает и находит себя?

— А я утверждаю, что это просто шпион, опять подосланный к нам, — задумчиво произнес мужик с одутловатым бритым лицом, весь посыпанный тончайшей белой пудрой и пропахший свежей пшеничной мукой. — Распластать его на лоспилке и концы в воду.

Толпа дружно сомкнулась, молчаливая и угрожающая; только из задних рядов, куда затесались подростки, слышалось озорное, легкомысленное гоготанье. Рыжий проповедник наклонил слепую львиную голову и уперся всем весом в землю, точно ища там какое-то недостающее ему звено. Корней почувствовал, как несколько грубых шершавых ладоней погладили его сзади, примериваясь.

— Стойте, стойте, каины! — кричала Ипата. Запыхавшись от тяжелого бега, она принялась расталкивать народ, пробираясь к центру. — Что вы делаете, ироды, сколько вас надо учить!

— Каины! — разразился, наконец и рыжий, разглядев, по видимому, таинственные письмена у себя под ногами. — Каины! — он палкою вертел во все стороны, и толпа, вздыхая, медленно расступилась.

— На легкую жизнь польстились! — продолжала громко Ипата. — Гады.

Народ опять разбился на пары и живописные группы и, мирно беседуя, расходился по всем направлениям; подростки кувыркались в траве, и селение вдруг приобрело патриархальный, даже райский вид, чему особенно способствовали откормленные ламы, благодушно проплывшие по лугу.

— Я бы не советовал продолжать в этом духе, — зловеще произнес старый джентльмен с узкой грудью и таким же вытянутым длинным, зеленым лицом, похожий на средневековое привидение; вопреки преклонному возрасту, у него, по видимому, уцелели все зубы, крупные, желтые, как у аллигатора.

— Это мой дед, Аптекарь, — заманчиво улыбаясь, представила его учительница. — Дед прав, надо быть осторожным с простым людом, — щебетала она, радуясь, что оставила душную классную комнату и явно стараясь растянуть перемену. — И то сказать, Ипата, войди в его положение. Приезжает контуженый или больной ночью, на него набрасываются сразу жена, семья,

сообщают разные новости. Естественно, Конрад смущен, — уверяла добрая Талифа, беря под свою защиту гостя. Ипата молча и неодобрительно слушала; проповедник, наоборот, казался довольным вмешательством шустрой девицы. Корней глубоко дышал, все еще смакуя пережитый избегнутого самосуда.

— Беда в том, что твой муж привык слишком полагаться на свою память, — учительница хихикнула.

— Он сказал, что не понимает, — вмешался Аптекарь, — не понимает, в чем разница между одним человеком и другим. Этот говорит: "Я" и тот утверждает: "Я"; этот проглатывает рюмку водки, тот пропускает стопку рому, оба испытывают удовольствие и уходят в постель. В чем же заключается священная особенность? Если абсолютная личность существует, то где и в чем она заключена? — Аптекарь, очевидно, являлся местным еретиком, либералом. Талифа, не переставая жмуриться и улыбаться солнцу, поддержала:

— Проповедник, вы сами в молитвенном собрании высказывались насчет тайны "Я" и "Мы".

— Да-а, — согласился рыжий великан, видимо, польщенный. — Я о личности говорю на Троицу.

— Ну вот, — кокетливо внушала учительница, — поговори-те об этом в следующее воскресение. И он все поймет. Смотрите, какой он сильный, хороший, несчастный, — увещевала она, шуточно поглаживая могучие плечи Конрада.

— Вопрос о личности — страшный вопрос, — вмешался между тем Аптекарь зеленоватым шопотом. — Здесь ключ к тайне! — он, очевидно, любил мудрствовать на досуге.

Одна Ипата не принимала участия в разговоре: стояла неподвижно со своим непоколебимым, твердокаменным, скуластым, тяжелым лицом розовато-желтого цвета и нарядным, прозрачным, загибающимся носом. Руки ее, щедрые, хозяйские, покорно опущенные, выражали стоическое бремя и страх.

— Хорошо! — согласился старец, похожий на Саваофа. — Надо помочь, и я все расскажу в следующее воскресение. А теперь за дело! — гремел он уже по-привычному. — Ипата, принимай мужа.

— Пройдем по работам, — не то спросила, не то приказала она. — Познакомишься. Не бойся, — почти улыбнулась (а глаза сухие, скупые). — Они совсем не страшные.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

в которой происходит знаменательная встреча

Медленно, взявшись за руки, как Адам и Ева в редкие мирные дни после изгнания из рая, чета гуляла по зеленой, лоснящейся на солнце траве; вскоре они свернули в сторону сарая с распахнутыми воротами, откуда весело доносился бой кузнечного молота.

Человек в старом, дырявом (прожженном) кожаном фартуке стоял, криво склонившись к наковальне (потом выяснилось, что он слеп на один глаз), и постукивал молотком по незаметной части. Он выглядел карикатурой на кузнеца. Юноша-подмастерье с трудом тянул к земле веревку мехов, точно раскачивал огромный колокол. Мастер выпрямился, оставаясь, впрочем, таким же щуплым, кривым.

— Добро пожаловать, хозяин, хозяйюшка, — пропел он фальшиво-приветливо.

— Доминик, это Конрад, мой муж, вернулся, — нашла нужным пояснить Ипата; обращаясь к подростку, спросила: — Что, Амврозий, нравится тебе ремесло?

— Добро пожаловать, повторил Доминик криво; Амврозий только смущенно поклонился.

Конрад пожал им руки; потом обошел мастерскую, внимательно оглядывая железные прутья, лом, скобы и подковы, лежащие у стен или подрешенные на гвоздях.

— Здесь кладовая, — показывал Доминик, видимо польщенный вниманием гостя. — Храним старые шипы, бруски, части. Мы больше не делаем своих подков, покупаем фабричные.

— Так гораздо лучше и дешевле, — подтвердила Ипата.

— Да. Но тогда можно и сапоги, и белье, и утварь покупать в городе, дешевле и лучше! — возразил Доминик.

— Дешевле, может быть, если считать, что время — деньги, но не лучше, — как заученный урок говорила Ипата. — Посмо-

три на это полотно. Или вот кожа. Сносу нет. У нас производят вечные вещи. Запомни это.

Конрад добросовестно ощупал передник и башмак Ипаты. Доминик робко заметил:

— А как же насчет электричества? Неужели свечи продолжительнее? — не дожидаясь ответа, он поплевал на обожженные руки и дернул за конец веревки. Угли в горне сразу вспыхнули фиолетовым, потом красным, желтым, наконец, бледно-белым накалием.

— Ишь ты, большие меха! — восхитился гость.

— А вы знакомы с нашим делом? — ласково и фальшиво обратился к нему опять Доминик.

— Да, когда-то, в Европе еще... — Он смолк, заметив взгляд Ипаты.

— А уголь там какой, неужели древесный? — интересовался Доминик и, почувствовав неподдельную симпатию, добавил: — Как вас величать-то, хозяин?

— Корней Ямб, — вырвалось у него непроизвольно.

— Звать его Конрад, Конрад Жамб. Я — Жамб, и он Жамб, и Фома — Жамб, — заявила Ипата ровным, но не допускающим возражения голосом.

— Ну Жамб так Жамб, — добродушно подмигнул Доминик. — Разница невелика. Не угодно ли гвоздочек отделать, мы здесь коляску чиним.

Ипата задумчиво и, пожалуй, нежно смотрела, как Конрад, постукивая молоточком то по железу, то по наковальне, ловко отбил грубый, но вполне соответствующий назначению толстый гвоздь. Доминик объяснил, как загнуть головку, и вся операция была произведена при одном только накале.

— У нас во дворе была кузница, — точно его понукали, сболтнул Конрад. — Там работали зимой и летом от зари до темени. В осенние сырые студёные вечера отойдешь на пять шагов от горна и попадешь в лужу, в снег, в ночь. Кругом тьма, холод, мерзость неорганизованной Вселенной. А из кузницы рвется пламя, стучат на двух наковальнях (лоб в лоб) вдохновенные мастера и поют простуженными, пьяными, злыми головами.

— Где это все, в Европе? — любопытствовал Доминик.

Ипата, сердито стуча большими башмаками, рванулась из сарая, взмыла, точно давно не летавшая тяжелая птица.

— Вам не следует вспоминать про эти глупости, — фамильярно шепнул Доминик. Выглянув за дверь и убедившись, что Ипата ушла, он достал из-под фартука табак и скрутил папироску. — Курите, — предложил он Конраду, — теперь можно, — он погрозил пальцем ухмыляющемуся подмастерью. — Жена ваша, ой-ой! Но я все-таки предпочитаю ее старику. Рыжий не спустит никому: строг. У нас многие Ипату больше любят. Только не огорчайте ее. Забудьте про вашу родину: вы никогда там не были. Официально у вас другая биография.

— Какая? — морщась от табака, спросил Конрад. — Это мне может пригодиться.

Доминик долго выдувал густой дым из ноздрей, рта, даже, может быть, из ушей; неторопливо сообщил:

— Вы жили в Чикаго, там женились на Ипате, приехали сюда, а через неделю пропали без вести.

— Но если я докажу, что...

— К чему это! — умоляюще сложил свои непропорционально большие руки кузнец. — Доказать можно все, кроме самого главного. Сумеет ли человек доказать, что он — христианин, Божье творение и бессмертен? К тому же, если вы действительно явились сюда, чтобы собрать некоторые сведения, то лучше молчать, а то наш народ темный, лесной! — Доминик загадочно подмигнул и, опять повернувшись к Амврозию, свирепо погрозил ему пальцем.

— Да, это, кажется, правильно, — процедил Конрад. — Но странно, что вы такое говорите мне. Совсем непонятно...

— Вот догадайся, — усмехнулся кривой кузнец и, отстранив зазевавшегося Амврозия, повис на мехах. Угли начали синеть, краснеть и бледнеть. А Доминик тоненьким религиозным голосом пел про электрический свет, сверкающий во тьме.

— Я хотел бы встретить Бруно, — неожиданно вырвалось у Конрада. — Я заплачу.

Доминик только укоризненно покачал криво сидящей костлявой головой и продолжал напевать.

Постояв в нерешительности, Конрад тихо вышел; нарядная узкая тропинка извивалась в сторону, и он медленно побрел по ней.

Обширное деревянное двухярусное строение привлекло его внимание; дубовые окна и двери, обитые тяжелыми, прочными скобами. Судя по вывеске и ряду наклеек, это был главный магазин селения.

Отворив низкую прилипшую дверь, Конрад замер в нерешительности: можно было подняться на пол-этажа выше или, наоборот, спуститься в подвальное помещение. Там было прохладно, аппетитно пахло рыбой и дегтем, виднелись разных калибров кадки, мешки с сушеными овощами, сбруя... Сошел вниз.

Огромный узкий прилавок тянулся, изгибаясь под прямым углом (продолжаясь из комнаты в комнату). Несколько женщин, покупательниц в чепцах, шептались, разглядывая товар. В дальнем углу, слева, отгороженном для надобностей конторы, виднелся письменный тяжелый стол. Конрад заметил на нем скопище похожих на библии бухгалтерских книг и большие деревянные счета. Тут же на двух бочках лежала снятая с петель дверь, на которой стояла шахматная доска с фигурами в самых естественных положениях. На меньших, опрокинутых вверх дном порожних бочках сидели друг против друга в воинственных позах шахматисты. Одним из них был зеленый Аптекарь; второй тоже показался знакомым: бритый, обсыпанный с ног до головы свежей мукой, с одутловатыми мешками в подглазьях.

Над головой висели круглые сыры, окорока, глиняная посуда. Пахло сушеной рыбой, мылом, кофе и кислой клюквой. Пестрели тюки шерсти, полотна, куски ситца. На полках у стены выстроились стеклянные банки, вроде аптечных: с латынью и адамовым черепом. (Чудилась ромашка, мята, камфора).

— Здравствуйте, почтеннейшие, — игриво поздоровался Конрад, возбужденный одним видом порхающих по квадратам неуклюжих фигур. — Можно присоединиться старому грешнику?

Аптекарь с челюстью аллигатора, любезно оскалившись, привстал на согнутых коленках: и все-таки он достал желтоватоседым ежиком до столетней балки потолка.

— Садитесь, конечно, — он показал рукою на место рядом. — Ходят слухи, что вы — отличный шахматист.

Мукомол, который давеча настаивал на быстрой расправе с Конрадом, теперь только повел ноздрями в сторону пришельца

и, не отрывая мутно-бледного взора от доски, бросил:

— Вряд ли вам интересно. Мы — народ темный...темный, — повторил он и двинул черного слона на диагональ. Обрадовавшись сделанному ходу, уже гораздо вежливее, обратился к гостю. — Мы всё от скуки затееваем. От скуки чуть вас не угроби́ли, — озорные искры вспыхнули в его водянистых заплывших глазках. — Позвольте представиться, Джонатан Финн, главный мельник, здесь мы все пока начальники, — он опять лукаво подмигнул.

Конрад пожал мягкую пыльную ручку мукомола, по привычке озираясь, обшаривая взглядом темную лавку. В разных местах, у полок, покупатели (чаще женщины) выбирали товар: посуду, кружева, ленты, мыло. Должно быть от сильного запаха (керосина, краски, скипидара, мяты) ему вдруг показалось, что он видит все это во сне или, наоборот, что он узнает кругом себя людей и предметы, снившиеся ему давно и часто.

— Вы, надо полагать, — обратился он к Аптекарю, теперь на покое, в отставке?

Аптекаря в подвале звали Фредериком; он ответил с натугой, не отводя глаз от фигур:

— Я и здесь по мере сил тружусь. Собираю травы, корешки, стручки и прочие ценности растительного царства. Но, конечно, это пустяки, — он твердо взглянул на своего собеседника. — Когда-то, на Среднем Западе, я владел знаменитой аптекой. Не такой, где продают мороженое и ваксу, а подлинной мастерской художественных мазей и эликсиров, — он нерешительно потянулся к пешке, но передумал и снова обратился к Конраду. — Мои пластыри признаны мексиканской фармакопеей!

В это время к беседующим приблизилась сухая старушка на тоненьких ножках, похожая на девочку, подражающую взрослым; она застенчиво улыбнулась и, склонившись к уху Конрада, прошептала:

— Претерпевший до конца — спасется.

Аптекарь двинул, наконец, пресловутую пешку.

— Тут сегодня прибыл новый товар, и бабы шляются, — довольно заметил Финн. — Эта Шарлотта всем надоедает... надоедает, — повторил он и хищно схватил пешку. — Не угостить

ли нам нового партнера? — благодушно предложил он, довольный обменом.

— Можно, конечно, можно, конечно, — сосредоточенно откликнулся Аптекарь. — Сидра или меда?

— Нет, благодарствую, вот папироску я бы закурил.

— Кто отказывается от лишнего, обеспечивает себе необходимое, — опять восторженно улыбаясь, на ходу бросила Шарлотта, ковыляя мимо мужчин.

— У нас пользуются только нюхательным табаком, — строго объяснил мельник; пошарив в карманах, он достал квадратную табакерку из лубка.

Конрад отказался.

— У вас тут мало совсем молодежи, — сказал он. — Юношей, девиц лет 18-20 незаметно кругом!

— Нет, отчего, молодежи здесь достаточно, — примирительно ответил Аптекарь, конем загребая королеву противника.

— Умный недоговаривает, глупый все излагает, — уронила опять восторженная Шарлотта. То пропадая в недрах катакомб меж ящиками и тюками, то снова появляясь у стола, она подавала очередную реплику, словно автомат, предсказывающий за пятак, иногда удивительно кстати, судьбу обывателя.

Мельник яростно крикнул:

— Играем мы или не играем, черт возьми!

— Извините, — твердо заявил Конрад. — Но партия, в сущности, закончена. Можно мне сразиться с победителем?

— Ах, ты! — грозно протянул мельник напудренный кулак в сторону приближающейся Шарлотты; та метнулась по кругу, провалилась в какую-то щель. — Я на размене запутался, — настаивал Финн.

— Знаете, я действительно отведаю вашего сидра. Замороженного, конечно! — шепнул Конрад, потирая руки перед представленными фигурами.

— Понятное дело, — потакнул Аптекарь; лицо мельника вдруг осветилось доброй улыбкой.

— Кто сеет рожь, пожнет хлеб, — предварила их Шарлотта, стремительно огибая снятую с петель, покоробленную дверь на пустых бочках.

Аптекарь нырнул под прилавок и достал кувшин драгоцен-

ного "Applejack" (держа его несколько на отлете, точно раскаленную жаровню). Чокнулись, выпили и все одинаково крикнули, что им, по-видимому, доставило особенное удовольствие. Конраду попались черные фигуры; мельник серьезно уставился на доску, точно ожидая оттуда откровения. Аптекарь двинул ферзевую пешку.

— Что, повторим? — предложил гость; все с готовностью согласились. — Я давно не играл по-настоящему, — рассказывал Конрад, отпивая из толстого синеватого стакана. — Последние разы я играл с русской женщиной, и мы все брали ходы назад, ха-ха-ха. Так что между нами бывшее становилось небывшим.

— Нет, мы здесь играем всерьез, — цедил Аптекарь, примериваясь к доске: при других условиях из него бы, вероятно, получился грессмейстер.

— Рай — для рыбаков, ад — для рыб, — сообщила старушка со сбитым набок чепцом, изнеможенно продолжая свой бег.

— Дайте срок, опять привыкну, — обещал Конрад. — Только не тяните. Еще рюмку?

— Можно, — охотно согласился мельник и даже как будто бы просиял из-под белой муки. Аптекарь воздержался.

— А все-таки я возьму эту пешку, — решил Конрад. — А как же насчет молодежи, вы утверждаете, что они все теперь работают?

Мы ничего не сказали насчет молодежи, — припухшие глазки Финна угрожающе остановились на госте.

— Я вам дам качество за пешку, — не совсем убежденно заметил Аптекарь, и уже другим тоном добавил. — Не советую задавать зря вопросы. Конечно, вы — муж Ипаты, вроде сына проповеднику, — это хорошая рекомендация. А все-таки, люди здесь подозрительные и, главное, темные. Не дай Бог, опять рассердятся.

— Камень на шею и в воду — очень просто, — задумчиво согласился мельник.

— Небо и земля нынче торжествуют, ангелы и люди весело ликуют, — уверяла Шарлотта, кокетливо улыбаясь.

— Да пошла ты к черту! — сердито отмахнулся Аптекарь

от ее назойливого щебетания. (Конрад отыграл пешку при размене ферзями и теперь давил его своим качеством).

— Будто бы амнезия, — грубо заметил Аптекарь, обращаясь к невидимым слушателям. — А шахматных комбинаций не забыл!

Конрад уже вёл партию к естественному концу, когда в лавку вбежала, стуча каблучками, девушка-подросток, — смуглая, гибкая, с высокой тонкой шеей. В ней чудилось столько праздничного, девственного ликования, что Конрад даже удивился ее присутствию в этом подвале, где пахло кожей и рыбой. Первое впечатление было, что она красавица; позднее Конрад понял, что ошибся. Поток счастья и неудержимой энергии создавал вокруг нее обаятельное магнетическое поле: он сразу ощутил притягательную силу этой милой стремительной жертвенной фигурки.

Девушка легко и деловито пробежала к прилавку (Конрад заметил ее голые смуглые щиколотки и круглые стальные маленькие икры); перегнувшись на другую сторону, она о чем-то тихо спросила приказчика, занятого у полок. Получив товар, девушка сразу отошла к высокому узкому окну, рассматривая на свет кусок бумажной ткани: серьезная, строгая, практичная и по-детски лукавая.

— Кто это? — осведомился Конрад, подаваясь всем телом вперед.

— Янина, — ответил зеленым шопотом Аптекарь. — Вам полагается ее знать — это сестра Ипаты.

— Янина! — протянул Конрад. — Янина! — он тяжело шагнул к ней с распростертыми объятиями.

Та поглядела на него большими светлыми строгими и влажными глазами соблазненной монахини и отрицательно покачала головкою (кроме глаз и вздернутого короткого возбуждающего носика в этом лице не было ничего примечательного). Через минуту, держа сверток обеими руками, легко и радостно простучала башмачками по толстым дубовым ступенькам наверх, опять обдав Конрада и строгим и хмельным взглядом.

— Сдаюсь, — заявил Конрад. — Когда-нибудь потребую реванш! — он спокойно допил водку и, церемонно поклонив-

шись, удалился из подвала. (Мукомол, казалось, обрадовался этому и пересел на его место).

Янина медленно шла по направлению крытого моста (похожего на фургон). Конраду нетрудно было бы ее догнать; но у гигантского, похожего на старинное почерневшее кружево гумна с распахнутыми сквозными воротами, ему преградил путь старый бритый батрак с лицом породистого бульдога. В синей куртке и опереточном голубом фартуке он стоял на тропинке, опираясь о грабли.

— Поспешаете? — пожалуй насмешливо, осведомился.

— Нет, я так, прогуливаюсь, — ласково улыбался Конрад. — Как тут замечательно пахнет, точно в родном селе! — ноздри его дрожали, втягивая не только воздух и запах, но и вкус, и свет.

— Пахнет обыкновенно, ригой.

— Вот именно, — потакнул Конрад, — соломой, зерном, мышами.

— Грехом, — подсказал бульдог. — Верьте слову Карла, здесь пахнет грехом.

— Вы — Карл, как же, как же, — подхватил Конрад, поспешно пожимая ему руку: он почему-то робел перед этим колоссом на толстых, точно глиняных ногах.

В амбаре было прохладно и чисто; в самом центре, словно ценный экспонат сельскохозяйственной выставки, блестели пестро раскрашенные маленькие сани с криво загибающимися кверху полозьями; оглобли, оставлявшие место для, казалось, исключительно узкой лошади, были черные, лакированные. Конрад сел на облучок, запахнул пиджак и чмокнул губами.

— Знаете, когда я в последний раз ехал на розвальнях? — спросил.

— Конечно, знаю, — отозвался непоколебимо Карл. — Ведь это я вас тогда возил.

— Вот как? — Конрад внимательно его оглядел. — Где это было? Здесь или в Чикаго?

— Нет, сударь, в Карелии. Да-да, — осклабился он; потом продолжил со вздохом, словно отвечая на вопрос. — Чувствую я себя отлично. Вот только когда поднимаюсь на горку, начинаю задыхаться, и голова кружится. И, конечно, с бабами уже

не то, совсем не то, — старик сделал циничный жест.

— Если прямо так идти, как далеко отсюда большая дорога? — грубо спросил Конрад. ("На редкость неприятная гадина", — подумал он, отводя глаза).

— Зимой или летом? — хихикнул Карл: что-то жестокое, азиатское, ханское, равнодушное и любопытствующее промелькнуло в его круглом обветренном лице с выцветшими тупыми глазками. — Ипата вас ждет там, а не здесь! — сказал он вдруг, выразительно поднимая вверх грабли (теперь он был похож на дьявола: не христианского производства, а китайского или индусского).

— Собственно, почему мне нельзя пойти за Яниной? — пробовал уговорить его Конрад, но безуспешно.

Выйдя в другие ворота, Карл неторопливо запряг пару волов (стоявших привязанными у плетня). Волы выглядели невинно и благодушно, похожие на бычков Киевщины или Херсонщины (мелкие, молодые). И хомут казался игрушечным, легким. Заскрипела высокая арба, и Конрад с бритым идиолом зашагали понуро назад к центру городка.

У молитвенного дома их дожидалась крупная и величественная Ипата с беспомощно опущенными руками.

— Тебе нельзя ходить за пруды, — сказала она, не меняя выражения светлого желтоватого твердокаменного лица с прекрасным, сложным и почти прозрачным носом. — Лучше не ходи пока туда! — несмотря на ровный голос, Конрад понял: угроза.

Бритый дьявол снял картуз (словно кланяясь), почесал редкие мягкие волосенки, надел его и, хлопнув чудовищным бичом, погнал бычков вниз, к огородам.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

в которой слепой пастырь поучает народ

Несколько дней промелькнуло в бесцельных прогулках и досужих разговорах; Конрад Жамб вел себя гораздо осторож-

нее, стараясь не возбуждать подозрений в угрюмых поселенцах.

Городок, весь открытый взгляду с холма, на котором высился дом Ипаты, казалось, лежал на серебряном блюде (точно хлеб-соль, преподносимая ненавистному генералу). Нежно-зеленый луг посередине и синий бор по краям; строения, словно две протянутые для объятия руки. Все на виду и ничего не понятно. Улыбаясь, по-старинному кланялись мужики в блузах и фартуках и бабы, одетые в оперные корсажи, чепцы. Утром выходили на нерентабельные работы; аккуратно прерывали занятия в полдень и вечером (когда мычала скотина и тянуло декоративным дымком).

В сумерки высекали огонь, зажигали самодельные разноцветные свечи или грубые керосиновые лампы; в печи пылали сухие поленья. Ставили на стол пахучие, густые, требующие внимания яства.

Народ при встречах держал себя любезно, с оттенком родственной непринужденности; обстоятельно и с достоинством отвечал на вопросы. И несмотря на это, Конрад ничего не мог прибавить к отрывочным сведениям относительно быта селения, полученным им в первый же день по приезде. А вопрос о молодежи неизменно вызывал в собеседнике припадок подлинного гнева. То же насчет Янины: ему никак не удавалось напасть опять на ее след.

Разумеется, прибавилось много новых знакомых... На мельнице и лесопилке (приводимых в движение водяной турбиной), в конторе почтового дилижанса, отправлявшегося раз в месяц к пристани на Больших Озерах. Главный конюх Хан, его сын, почтальон Эрик; жена Хана, Луиза, специалистка по кружевам. Еще мастера, вязавшие крепкие веники из особой травы, ткавшие нитяные ковры, отливавшие свечи и оловянные ложки, выдувавшие стеклянные изделия. Все эти обитатели, кроме основных профессий своих, славились еще искусством выделки особой крепости водки, которой и угощали щедро горожанина (все, за исключением одного лишь Хана, возненавидевшего Конрада). Простые труженики, они быстро и совершенно пьянели, но все же особых тайн не выбалтывали гостю, что даже удивляло последнего.

Больше всего, разумеется, открылось Конраду в его соб-

ственном доме, от общения с Ипатою и Фомою. Кстати, обнаружилось, что до своего пресловутого бегства из городка Жамб выполнял короткое время обязанности помощника пресвитера, помогая недавно ослепшему пастору в его разнообразной деятельности. На некоторые темы Ипата распространялась довольно охотно, стремясь, по-видимому, пробудить угасшую память контуженого мужа; однако, иные вопросы возбуждали в ней припадки уже знакомого ему гнева. Так, она не любила, когда он по ошибке именовал себя Ямбом или расспрашивал об их совместной жизни в Чикаго. Злобное твердокаменное молчание служило ответом на всякое упоминание о Янине или юноше Бруно, судьба которого интересовала Конрада. В минуты горестного отчаяния, ей, однако, случилось проговориться:

— Никакого Бруно не знаю. Если речь идет о Мы, то лучше на время забудь о нем, иначе тебе проломят череп у прудов.

Эту тихую угрозу Конрад воспринял как целительный бальзам, подтвердивший все его расчеты; однако решил не слишком рисковать и больше не настаивал. Хотя сознание, что дни бегут, друзья мучительно где-то ждут вестей, а он вынужден бездействовать, приводило его в бешенство. Все же можно было, пожалуй, считать доказанным, что Бруно существует и ключ к позиции где-то за прудами.

Ипата оказалась превосходной работницей: утром и вечером—мать, днем—хозяйка, а ночью—жена! Чего желать большего... Попадая в ее владения, — днем за столом, ночью в постели, — Конрад растворялся в этом потоке щедрой зрелой страсти, хозяйственной нежности, практической мудрости. Но разговаривать с ней было подчас мукою: внезапно (как ему чудилось) отстранялась, обособлялась, запиралась в себя — точно столбняк находил на нее! Всегда, когда вспоминал что-то некстати из предполагаемого прошлого. Удручало также, когда Ипата (совершенно лишенная чувства юмора) начинала вдруг шутить, кокетничать, стараясь отвлечь внимание мужа от опасных тем. В этой роли она была исключительно смешна: Конрад предпочитал уже нудный столбняк ее (состояние зоркого, напряженного полуобморока).

Присутствия сестры, Янины, где-то в селении Ипата не

отрицала, только гневалась, если Конрад выражал желание с ней встретиться.

Странное дело, Конраду чудилось, что причиной ссор являлась не одна тайна Бруно (или прудов), а самая первородная, лютая ревность, тем более острая и унижительная, чем безосновательнее она возникала. Впрочем, зерно, брошенное Яниной, впечатление, оставленное ее страстным маленьким личиком, ее круглыми стальными икрами, давало уже свой плод; так что тревога Ипаты, отчасти, была оправдана.

Несмотря на внешность футболиста и повадки простачка, Конрад в своем кругу славился хитростью и мягкой настойчивостью. Он умел с достоинством, умеренно польстить, помолчать, сказать, недоговаривая, или без лишних слов внушить нечто важное, хотя и ускользающее. Особенно он отличался даром маневра и диверсии: углубляясь в один план или сектор, он мог добывать сведения или руду из соседнего. Эти способности и выдвигали его, естественно, на положение главаря.

Теперь он чувствовал себя точно перед глухой стенкой и бессилен. Но когда в ответ на спокойные упреки Ипаты все в нем готово было возмутиться, Конрад, сжимая кулаки, говорил себе: "Вот я уже сержусь и выкрикиваю грубую ругань, пожалуй, ударю ее..." — и сразу получалось, словно не Конрад все это проделывает, а некто другой. Сам Конрад отодвигался на место постороннего умного свидетеля! Бывало, когда хохотал над чьей-то шуткой, он научился сразу отмечать мысленно: "Вот я смеюсь, потому что рассказали или сделали то-то и то-то..." — и тогда его роль в общей беседе приобретала особенности соглядатая, давая ему несомненные преимущества (что, впрочем, бесознательно ощущалось всеми). Но, разумеется, настоящего удовольствия от такого смеха нельзя было испытывать; и постоянное напряжение изматывало силы. Даже когда он расспрашивал о Бруно, целовал Ипату или мысленно опять смаковал встречу с Яниной (она бежала против ветра с выпирившими под ситцевым платьем сосками отроковицы — как в "Песне Песней"), даже в такие минуты Конрад повторял себе, чтобы не потерять голову: "Вот я задаю опасный вопрос... укладываюсь с Ипатою... мечтаю о любви...".. Этот самоистребляющий постоянный контроль должен был помочь ему в любом случае не откло-

ниться от главной цели экспедиции.

По вечерам и праздникам Конрад возился с Фомою, готовил с ним уроки (это, кажется, столетия тому назад называлось правилом трех), играл, бегал, боролся или, самое замечательное, — брал грязную ручку ребенка в свою лапу и отправлялся чинно гулять, осязая, как из этой маленькой горячей ладони, подобной куску портативного солнца, переливается в его (Конрада) тушу счастье, бессмертие, нежность, восхищение. Вот в такие минуты Конрад, пожалуй, не замечал, что это именно он преобразается, и не отстранялся. Тут он отдыхал, наконец, душою, возрождаясь.

По воскресным дням все обитатели городка тянулись славить Господа. Молитвенный дом — серо-белое, простое, строгое здание; внутри все обрамлено скупыми линиями и прямыми углами, представляя из себя непонятное чудо искусства и хорошего вкуса.

Двухярусный зал был занят тремя рядами скамей, перегородженных таким образом, что они представляли из себя отдельные ложи (с дверцей, как в открытом кабриолете). Зимой для защиты от лютого мороза прихожане приносили с собою раскаленные и завернутые в одеяла кипричи. Галерея, окаймлявшая амфитеатр, служила вторым этажом: там, на скамьях, производивших впечатление покатых, помещались молодежь и холостые.

Спереди скромная черная трибуна с пультом, на котором вечно возвышалась, подобная утесу, монументальная Библия.

Больше всего нравились Конраду опять-таки окна: чистые, сверкали под самой крышей, уходящей косо вверх. Пропорции ширины и длины каждого стекла вселяли в душу смутную веру в осмысленность преходящего мира. Словно древние секреты пифагорейцев (и Атлантиды) заключались в этих числах и мерах: утерянная тайна, доступная теперь по наитию только художникам.

С боку трибуны дремал маленький черный столик, на котором покоилась массивная деревянная шкатулка.

Конрад обычно приходил в эту церковь загодя. Они с Фомою весело взбирались по крутой лестнице на галерею; от ступеней и стен несло запахом свежей пшеничной муки, так что

представлялось: эти балки и бревна раньше, долгие годы, служили остовом для мельницы. Наверху тоже выстроились скамьи, но не все в том же порядке... Пол галереи был покат, благодаря чему создавалось впечатление, будто скамьи, на манер салазок, летят с разных горок навстречу друг другу: вот-вот сшибутся.

С райка проповедник не был виден; прорез посередине, огороженный бледными перилами, позволял только слушать. Но над головой светили те же волшебные стекла, подпирающие холодную синеву мироздания.

Конрад с душевным трепетом представлял себе, как в тоскливые осенние вечера обманутая девушка или соблазненная жена сидит тут наверху, прислушиваясь к синайскому грому проповедника, глядя на священные пропорции окон, не ожидая уже пощады. А кругом, за стеною, свирепствует канадская выюга, и надвигается огромная ночь.

На Рождество здесь распевают древние каляды, надевают самодельные тулупы и ездят за околицу на санях; выпив лишнее, все немного оживают и буйствуют. А над бором и скованными льдами озерами неподвижно висит восковая луна.

В первое же свое воскресное посещение церкви Конрад снова увидел Янину. Она простучала каблучками по лестнице с высокими ступенями: опять мелькнули девичьи круглые, маленькие, крепкие икры... За ней по пятам следовал мешковатый, рыхлый очкастый юноша, производивший впечатление чужестранца, застрявшего на денек в селении: до того непохож он был на местных жителей. (По-барски тучный, мягкий, казалось, сонный увалень — тюлень с лапами вместо рук). Они скрылись на хорах и волнение, оставленное в душе Конрада каждым из этих двух различных существ, не сливалось, а словно подчеркивало друг друга. Напрасно он запрокидывал голову вверх: сидевших на галерее нельзя было увидеть... Только окна под самым дубовым переплетом и синева летнего утра.

— Святые грешники и грешные святые, помогите мне! — восклицал Конрад, устраиваясь на скамье в своей ложе.

В ответ на его злую молитву слепой рыжий пастор вышел на подмостки и начал шуметь. Служба открылась несколькими торжественными фразами на органе: играла Талифа, школьная

учительница, смазливая девица, оказавшаяся женою старшего сына Хана. Затем последовала молитва, импровизация патриарха. Все дружно скандировали "Отче Наш"

Опять гимн. Теперь наступал черед для проповеди. Рыжий, спотыкаясь, грузно перебирался на другой край трибуны. Конрад послушно вставал, когда полагалось, пел, заглядывая через плечо Ипаты в сборник гимнов с нотами, выведенными от руки (Фома держал собственную тетрадку). Запах пшеничной муки, треск сухих досок, сияние чистых окон, подпирающих синеву — все приводило Конрада в состояние умиления.

— Текстом к сегодняшней проповеди нам послужат слова апостола Павла: членов много, а тело одно и если члены начнут считаться и ссориться с телом, то что же получится... — горестно, точно подделываясь под кого-то другого, жаловался пастор; сделав паузу, он уже продолжал в своем обычном, уверенном, шумном духе:

— Некоторые среди вас спрашивают: "Кто Я, какое Мое настоящее имя, благодаря чему Меня можно безошибочно отличить от соседа?"... Им чудится, что если не знать ответа на эти вопросы, то произойдет несчастье. Многие даже верят в воскресение из мертвых во плоти, но желали бы понять: "Кто же, собственно, воскреснет, когда мое Я воспрянет из гроба..."

Человек проходит через разные образы: от младенческого состояния до зрелого и дальше — старческого! Он меняет воззрения, симпатии, вкусы, вес, даже убеждения или религию. И в то же время ему мнится, что главное в нем остается неприкосновенным. Вот некто произносит: "Я". Что означает это "Я"? Оно любит прохладный сидр летом и горячую уху зимою. Что же, разве его сосед по-иному ощущает холодное в жару и жирное в мороз?

Вот одно Я ласкает женщину. Что же, Оно воспринимает это иначе, чем другое Я? Немного сильнее или слабее, страстнее или тупее, неужели в этом вся разница, объясняющая борьбу, злобу и ревность, отталкивающие разные Я в нашем мире? В конце концов, даже один и тот же человек может по-разному переживать свои удовольствия и муки, в зависимости от настроения, возраста, вина. Стало быть, не это выражает особенность личности. Аминь! — пастор торжествующе простер в слепое

пространство короткую дрожащую толстую руку, и толпа внизу рывкнула тоже: "Аминь!"

— Но, может быть, сочетание одних черт с другими, как отпечаток пальца руки, определяет личность? Увы, по теории вероятности, комбинации чисел и черт в бесконечности постепенно должны повториться. На каком-то миллиарде людского населения полиция обнаружит два совершенно совпадающих отпечатка пальцев. А личность ведь, если существует, неповторима.

У Эрика, дескать, такое лицо, такие ноги, глаза, может быть, даже горб, подумашь! Неужели это важно, неповторимо и бессмертно? Как часто понимаешь, что наружность, улыбка, лысина, запах изо рта не только не выражают данную личность, а, наоборот, искажают ее, создавая ложный плоский образ. Шрам или ругань, даже горб или бородавка часто только оскобывают человека от накапливающейся злости и страсти, очищая его сущность.

А то, что Маргарита чувствует, говорит или думает, изменив через год свое мнение, неужели это является обязательной частью ее личности и подлежит воскресению? Сегодня она грешит, а завтра подвижница. Кто она? Где она? В чем она? Аминь! — опять победоносно простер он длани.

— Тогда мудрец заявляет: "Не знаю, кто Я и откуда взялся, и куда несусь, но, однако, всегда узнаю Себя". Благодаря чему мудрец узнает себя? На это отвечают: память! Память, дескать, свидетельствует о том, что Конрад назывался Корнеем, родился столько-то лет тому назад в Европе от таких-то, а не иных предков, изъясняется на трех языках, играет на фортепьяно; уроки ему давала старая дева с искусственной челюстью; от нее пахло водянистым ландышем. Возникшие таким образом ассоциации, сознательные и дремлющие, создают бесчисленные завитушки и орнаменты в душе человека, характерные для него, как почерк. Но не есть ли это, в конце концов, тоже комбинация точек и черт, подверженная закону повторения... Иначе говоря, память также мешает личности, как и внешний вид, не только редко выражая ядро человека, но даже подчас уродуя, искажая его.

Обратите внимание, братья, сестры! Когда человек начинает помнить себя? Что он помнит за пределом младенчества

или зачатия? А ведь личность, если она бессмертна, не имеет и начала. О другом существовании в нашей обыденной памяти не найти как будто заметных следов.

И все-таки, Я уверяет, что узнает себя безошибочно, вопреки всему, ночью и днем, зимой и летом, на экваторе и на полюсе, в темноте, очнувшись от сна... и как будто не ошибается в этом. А те, что теряют себя, не находят всегда, почитаются большими и безумными. Аминь.

— Аминь, — рывкнули дремлющие прихожане.

— Вопрос сознания, осознания чрезвычайно раздут современными фарисеями, — продолжал рыжий старец. — Утверждают, что если существо под влиянием похоти, страсти, любви, отчаяния, азарта отдается всецело потоку, захлестнувшему его, то оно этим самым уподобляется собаке, кошке, буйволу или пауку; но если человек во власти тех же стихий, совершая смертный грех, преступая заповеди, сознает, однако, что вот он теперь, дескать, превращается в Каина, то есть словно видит собственное искажение в зеркале, то он этим самым сразу отделяется от бесформенного, бездонного биологического потока и становится будто бы личностью, способной выбирать.

Бессознательное не имеет начала, не имеет конца, оно уже существовало вместе с тьмою, небытием, вакуумом. Только сознательному, быть может, угрожает забвение, предел и казнь. Но в то же время, если Я не сможет себя найти и вспомнить на Страшном суде, то и суда для этого Я не будет, а равно оправдания и воскресения. Однако, вспомните, дорогие, было множество святых типа дурачков, блажных, юродивых, калек разной масти, бессознательно, как бы во сне или в детском состоянии воплощающих заповеди Бога жизни и любви. Что же станется с ними? Не будучи сознательными и памятьливыми, они не унаследуют Царства Божия? И Спаситель сказал: будьте как дети! Дети никак не могут служить примером сознания и памяти. Царство ребят ближе к царству животных, чем к миру Сократа, Бергсона и Фомы Аквинского. В чем заключается личность младенца? По каким приметам его узнает мать через десятилетия на другом континенте? И узнает ли? — рыжий тучный патриарх взволнованно прошелся по мосткам.

— Аминь! — воспользовавшись паузой, рявкнули угрюмые слушатели.

— Вот Елена Келлер. Не видит, не слышит, не говорит и, вероятно, лишена многих восприятий, о которых даже не догадывается. Значит, органы чувств не являются обязательными для существования личности. Личность реальна не благодаря сознанию, памяти, слуху, зрению, телу и симпатиям, а, может быть, вопреки этому всему. Какова судьба парализованных, ампутированных, мычащих наследственных кретиннов, монстров, юродивых и недоносков? Каспар Хаузер жил в погребе, не знал речи, помнил только тень загадочного сторожа... Сколько среди нас здесь Каспаров Хаузеров! Слава Богу...

Нынче государства производят опыты, готовясь к межпланетным путешествиям; изучают новые физические условия и влияние последних на организм. Установлено, что астронавты, закупоренные в испытательных кабинках, под влиянием резких гравитационных и скоростных изменений теряют чувство собственного Я как определенной ограниченной и разумной системы. При стремительном повороте кровь, отхлынув от мозга, кожи, глаз, конечностей, как бы застывает, тем самым мгновенно лишая пилотов способности определять направление, время, вес и свое положение в пространстве. Кто он? Откуда? Зачем заперт под прессом? Что означают эти приборы? Где его корни? За что он борется? И кто такой: Он? На эти вопросы летчик не сразу может дать удовлетворительный ответ. И первым делом их тренируют быстро "находить себя". Этого требует не бессмертие личности, а стратегический успех. Вот для чего нужно знать себя и помнить: для победы над врагом в падшем мире. Выживет тот, кто первым очнется! Но при чем тут бессмертная, безначальная личность?...

Где же таится, наконец, эта пресловутая личность и что действительно неповторимо в данном человеке? Обязана ли она вечно отмежевываться от потока ей во многом педобных? Один уверяет, что он — Корней, а его воспринимают в качестве Конрада... Холостяк? А у него где-то семья, дети. Что является последним критерием? Сознание, память, успех? Вздор. И еще, братья, сестры! Если не знать себя, то как можно рассчитывать распознавать друг друга на новой земле, под новыми звездами.

Бог есть любовь, и Бог есть свет. Свет расходится волнами. Волны разные, а свет один. Бог во всех один. Здесь мудрость, вникайте.

Конрад даже привстал от волнения, ожидая, что патриарх сейчас в нескольких словах посвятит его в желанную тайну. Возможно, что так бы и случилось, но в это самое время сверху слышались шум борьбы и ругань; создавалось впечатление, будто на галерее по полу катаются громоздкие туши. Как потом выяснилось, Эрик, почтальон, неоднократно бывавший с дилижансом в людном городе, проникнулся тамошними оппозиционными настроениями социалистического толка; он давно порывался высказаться. Молитвенное собрание показалось ему подходящим местом; но пока он пробирался к перилам, брат его Ник (муж Талифы), давно следивший за Эриком, преградил последнему путь. В результате чего завязалась свалка с участием посторонних. Эрик все-таки выскользнул из тисков и, перегнувшись через перила, успел крикнуть над головой маститого пророка (словно вылил ушат холодной воды):

— Позор. Что мне потусторонний мир? Известно ли вам, отец, что в Азии не хватает риса для страдающих поносом детей! В Нью-Йорке мальчики-пуэртиरिकанцы спят со своими сестрами в одной постели...

Тут тяжелая и страшная длань первенца Хана, Ника, зажала рот юноше с бледным и вдохновенным (хотя несколько щупленьким) лицом. Недолго слышалась еще возня, стук, всхлипывание, потом топот по лестнице, и все стихло.

Рыжий, могучий, слепой пастор, встряхнувшись, точно сен-бернар, вылезший из воды, опять положил короткую толстую руку на пульт и продолжал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

**в которой бесконечности сравниваются, умножаются
и делятся**

— Всякий раз, когда человек приближается к познанию тайного, дьявол вмешивается и преграждает путь! — снисходи-

тельно гремел пастырь. — С дьяволом легко бороться, если только сразу узнать его. Однако можем ли мы быть уверенными, что это он, а не благие духи остановили нас? Здесь тоже мудрость. Да, — прочувственно, видимо, устав, тянул слепой проповедник: при вздохе его грудь раздувалась, как бочка, во все стороны. — Да, братья, сестры, Елена Келлер будет гораздо легче руководствоваться без глаз, ушей, языка, в других измерениях: у нее развились особые черты, отсутствующие пока у нас. То же, вероятно, происходит с дурачками, калеками, блажными, Каспарами Хаузерами, неразумными детками, забывающими здесь, кто они и чьи. Даже атлеты, готовящиеся к межпланетному полету и постоянно теряющие себя, могут оказаться в лучшем положении.

А между тем, легко допустить, что Бог, создавший нас, всегда и всюду узнает своих детей: каждого в отдельности, и не нуждается в родимом пятнышке. Простая мать к этому способна, не то что всемогущий Творец. А мы, со своей стороны, без труда отличаем Бога на любом расстоянии, при любых обстоятельствах. Мы Его узнаем в повседневной жизни, когда удачно молимся. Или когда помогаем ближнему.

Итак, согласимся, что Господу известна всякая созданная Им личность, а мы, в свою очередь, без труда разглядим Отца издалека. Это две постоянные точки, два ориентира в мире туманов и снов. Отныне личность есть взаимоотношение человека с Богом... Впрочем, в космосе действительны только пропорции. Наука, искусство, философия, религия стараются выяснить отношение определенной массы ко всей массе, данной души — к Богу, Творцу ее, принимая во внимание притяжение, любовь, температуру, направление, быстроту движения. Таким образом, вечная и неповторимая реальность личности определяется единственностью и неповторимостью Бога, в постоянной связи с которым она находится. Вникайте и славьте: здесь все! Через Бога мы различаем друзей и родных, врагов и братьев, тоже существующих в Боге. Строение человека сложно, нераздельно и неслиянно. Он здесь и не здесь, он там и не там, он здесь и там, и нигде; он движется, переливается в частях, ограничен и абсолютен.

Простая логика, здравый смысл, ум пахаря, эмоциональное

познание, интуиция, память интеллигента, сознание философа — все это только бирюльки, которые пора сдать на хранение в этнографический музей. Какая польза от разума или интуиции, не объясняющих простейших форм отсутствия времени или пространства, а тем паче загадки возникновения безначальной души. Логика хромает, а психология мешает познанию безмерных величин и приливов, орошающих материи времени. Только абстрактная математика может приотворить дверь в один из перекрученных космосов. Это — трансреальная логика, побеждающая наивные интуиции и пресловутый здравый смысл. Слава, слава Творцу, аминь.

Корней исподтишка разглядывал своих мрачных соседей, Ипату, Фому; все сидели чинно и с достоинством слушали, ничуть не удивляясь, по-видимому, уже знакомые с такого рода речами. А старый громовержец продолжал:

— Братья, сестры, вы не забыли великие откровения Кантора, который сравнивал разные бесконечности и доказал, что одни из них бывают больше, другие меньше. Логика, где твое жало? Математику легко доказать, что бесконечность четных чисел и всей совокупности чисел — одинакового порядка; но бесконечность точек на прямой и кривой в пространстве разной величины! Верьте или не верьте, дурачки, а это так. Интуиция и узаконенный разум вам мешают.

— Братья, сестры! — нежно и особенно торжественно возгласил пастырь; прихожане восторженно встрепенулись. Конрад заметил отблеск улыбки на некоторых суровых лицах. — Братья, сестры! У одного хозяина гостиницы было бесконечное число номеров для постояльцев, и все они однажды оказались заняты. К вечеру разыгралась вьюга и подъехал еще один пилигрим, попросившийся на ночлег. Как хозяину бесконечного множества номеров (но всех занятых) освободить комнату для странника? Хозяин нашел единственный выход: он передвинул всех своих постояльцев в следующий по порядку номер и опростал таким образом первую комнату, куда и поместил вновь прибывшего паломника. Так последний становится первым по Писанию, аминь!

— Аминь, аминь, — повторили кругом.

— Но дьявол не сдался и продолжал строить козни! Только что все улеглись на постоялом дворе, как в ворота стучит уже

караван с бесконечным множеством усталых путников, жаждущих крова. "Пусти, — молят они. — На дворе метель". И хозяин опять нашелся, перехитрив коварного врага. Бесконечность своих старых постояльцев он перевел в бесконечность четных номеров, а вновь прибывших поместил в бесконечность нечетных комнат. Воистину можно утверждать: в доме Отца моего много обитателей, и для всех хватит места; если бы это было не так, я бы вам сказал. Аминь.

— Аминь, — весело отозвались прихожане.

— Теперь я вам покажу штуку, которая 50 лет тому назад перевернула вверх ногами все мое существо, — рыжий гигант протянул вперед руки, с которых свисала узкая длинная лента. — Я беру бумажную полосу, которой склеивают пакеты, и скрепляю концы, предварительно, однако, завернув ее раз вокруг собственной оси. Получается большое кольцо; ножницами я начинаю его разрезать в длину на две части. Вы видите, что я скоро пройду вдоль всей ленты. Не ясно ли вам уже, что получится, когда я закончу эту операцию?

— Два кольца! — весело рявкнул народ; все оборачивались к Конраду и даже дружелюбно ему подмигивали.

— Логично, — согласился проповедник. — Два кольца. Ничего не скажешь против такого мнения. Разум и воображение нашей земли подсказывают один и тот же ответ. Но вот я заканчиваю работу, откладываю ножницы и разнимаю обе части. Что получилось?

Проповедник вместо ожидаемых двух колец (более узких, чем первоначальное) держал в своих коротких, чудовищной силы руках только одно кольцо, но вдвое больше прежнего.

— Братья, сестры! — умоляюще протянул вперед толстые ручки пастор. — Вот что получается в перекрученном падшем мире. Логика, интуиция и добрая воля играют роль только в равномерном космосе; люди, думающие, что Вселенная одинакова повсюду, — милые бараны. В вывихнутом космосе, закрученном порою несколько раз, нетрудно запутаться. Там наши чувства и мысли — часто только лишний балласт. Молитва, откровение и отвлеченные выводы математики еще спасают. Так в тумане ведут судно, руководствуясь не слухом или зрением, а хрупкими навигационными инструментами, вопреки

интуиции и предчувствиям. Изучайте это кольцо. Аминь.

— Аминь, — рявкнул хор. — Аминь, — откликнулись сверху. Некоторые свешивались с перил, кивая и подмигивая Конраду: непонятно было, издеваются они или, наоборот, подбадривают.

— Личность — тоже закрученный, а не простой космос; природа ее не сложнее и не проще туманного пятна или Млечного Пути. Бог есть свет. Свет распространяется волнами или зернами! Что такое волна? Волна — чудо. Она здесь и там. Она уже там, но еще здесь. Посмотрите на полосу прибоя: волна перебегает от мели к берегу. Не вода передвигается, а только изгиб, вибрация воды: волна! Она тут и не тут, она реальность и отсутствие. Она здесь, заливает, топит, опрокидывает и в то же время ее еще нет. Она подобна личности.

Бог есть любовь. Любовь, как свет, распространяется волнами; и волны нераздельны, неслиянны, как Бог и как личность. Один не может любить Другого, ибо в любви исчезают обособления. Я не любит Тебя или Его; в любви тает Я и Ты, и Оно: все становится Одним.

В любви Я и Ты уже отсутствуют, организм преобразился. И это новое существо любви есть личность. Речь идет об одной личности всех любящих: нераздельной и неслиянной... она всегда существовала и воскреснет во плоти, когда настанут сроки. Отдельные индивидуумы называют себя "Я"; они, подобно клеткам больного тела, отгораживаются, образуют воспаления, воюют, спорят, кто лучше, умнее, талантливее и кто заслужил Нобелевскую Премию. У апостола Павла мы читаем: "Дары различны, но Дух один и тот же... И служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем."

Человек, если у него ампутировать руку или ногу, потом все еще чувствует боль как бы в пальцах отрезанной конечности. Это зовется фантомной болью. Но боль эта на самом деле совсем не мнимая, а свидетельствует о глубокой подлинной трансреальной памяти. Мы все испытываем большую или меньшую мучительную неуютность в этом мире, доказывающую, что где-то, когда-то, кем-то была произведена над нами страшная, пожалуй, спасительная, но суровая операция. И эта наша фан-

томная боль — величайшая реальность, которой и следует руководствоваться как космической памятью, взамен плоской, индивидуальной, короткой, бытовой.

Что же ты, несмышленный, уверяешь: я не тот, а другой, мое имя пишется иначе. Это не моя жена и чужой ребенок! Ах, я не могу вспомнить, не могу себе представить. Не могу понять! Моя интуиция, мой опыт и память свидетельствуют о другом! Дурак, — искренне сокрушался слепой пастырь. — Дурак, образумься. Мир сложнее твоего воображения. Вспомни только это бумажное кольцо, вывернутое всего один раз.

”Все же сие, — говорит апостол, — производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно... Ибо как тело одно, но имеет много членов и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. В этом наша вера, аминь!

— Аминь! — гаркнул народ, точно огрызаясь; на Конрада больше никто не глядел, но он чувствовал себя почему-то в опасности.

— Дух один от Бога и тело одно — Христос, — продолжал грозный старец. — ”Тело же не из одного члена, но из многих... Но Бог расположил члены каждый в составе тела как ему было угодно... Но теперь членов много, а тело одно”. Здесь тайна личности. Все остальное — бред. Индивидуальностей, жаждущих все как один того же самого — приятного щекотания, много, а личность одна. ”И вы тело Христово, а порознь члены. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший”! — говорю вслед за апостолом. А заботы о том, кто где родился и с кем парился в бане в 1927 году; память о скамейке в парке или слезах матери при разлуке — весь такого рода личный опыт не имеет решающего значения в настоящем, реальном мире. Благословение Отца нашего, Любовь Сына и соборность Святого Духа ныне, присно и во веки веков... Аминь.

— Аминь, — облегченно загудели сверху, снизу и сбоков. — Аминь.

— ”Господь помогал нам темной ночью”, — запели молящиеся гимн номер 211. Конрад слышал ликующий, щедро лившийся девичий голос с галереи; почему-то уверенный, что это поет Янина, он страстно вдыхал ноздрями вместе с разогретым

воздухом эти звуки: ему чудилось, что она касается его, проникает насквозь, уносит.

Не успел проповедник оповестить собрание о денежных расходах и сборах, как опять торжественно загремел бахообразный орган, подчиняясь миловидной Талифе (так хрупкий индус ведет за собою огромного слона).

Конрад, опережая семью, ринулся к выходу по узкому коридору между двумя рядами лож, толкаясь, словно в кинематографе. Он очутился в сенях, по обеим сторонам которых поднимались две крутые, звонкие дубовые лестницы, ведущие на хоры. Оттуда спускалась уже стайка молодежи. Среди подростков легко было узнать тонкую сияющую Янину, стройную и нарядную; ее смуглое маленькое личико с огромными зеленоватыми глазами показалось Конраду родным и желанным. Действительно, она лукаво кивнула ему головкой, точно дразня коротким, неприлично вздернутым носиком. Быстро и твердо пробежала наружу, а рядом, пыхтя, неуклюжий, как утка, переваливался огромный одутловатый юноша с большой круглой головою и темными на выкате блестящими глазами оленя (он держал в руках синие очки).

Дверь захлопнулась, Конрад сердито толкнул ее и выглянул наружу: ветер раздувал колоколом юбку девушки. На солнце голубизна корсажа, казалось, сливалась с небесной; только ноги Янины были земными и желанными: стройные, тонкие, крепкие, с круглыми стальными икрами. Юноша в темных очках, семенивший за нею, неряшливо шаркая тяжелыми подошвами, чудилось, хромал на обе ноги. Так они продвигались навстречу ветру, в сторону прудов: туда, где за мельницей и лесопилкою синел крытый мост, похожий на фургон.

Между тем народ повалил из церкви; некоторые степенно обменивались замечаниями, образуя живописные группы на широком крыльчике с узкими ступенями. Вскоре показались Ипата с Фомою; Конрад знал, что их ждут у проповедника к чаю и пирогу. Янина с очкастым медведем уже скрылась за первыми сонами у плотины.

— Кто этот увалень с твоей сестрой? — спросил Конрад. — Я его где-то встречал.

Ипата ничего не ответила; только Фома недоверчиво уста-

вился на отца. Все молчали; на краю селения, у прудов, синее, зеленое и голубое незаметно сливались.

За чаем в гостиной рыжего старца собралось несколько знакомых уже Конраду, по-видимому, влиятельных лиц... Аптекарь с музыкальной внучкой, Финн и Луиза, конюх Хан с Ником (мужем Талифы). Кроме того, почетным гостем являлся канадский констебль, приехавший из города по служебным пограничным делам. Была еще чета молодоженов: Матильда с Гусом. При чем Матильда, хотя и старшая (под шестьдесят), так и кипела, переливаясь гормонами; а муж ее, выглядевший рядом мальчишкой, производил впечатление хилого, заспанного, обиженного создания.

Конрад с удивлением заметил в комнате множество книг по математике и физике; также разные научные инструменты, микроскопы и даже маленький телескоп; чай заварил и разливал Ипата. Пирог был тот же: с мятой.

Разговор вначале касался безумных выкриков Эрика; все его осуждали, за исключением пастора, с наслаждением цедившего свой чай и молчавшего (что почему-то удручало отца Эрика — Хана).

Кружева Матильды недавно удостоились медали на соседней выставке; поговорили о возможностях завоевания нового рынка для местного производства.

Проповедник все также шумно прихлебывал горячий чай из стакана; внимательно оглядывал гостей своими мутно-голубыми (пепельно-перламутровыми) глазами и улыбался, видимо, вполне удовлетворенный. Конрад нашел нужным его поблагодарить за проповедь:

— Теперь мне будет легче разобраться в мучительных вопросах существования, — заверил он старца.

— Основное чудо все-таки в свободе выбора, — вмешался констебль; шестидесятилетний атлет военной выправки, он явно чувствовал себя неловко в штатском платье и поминутноправлял на себе пиджак. — Здесь мера личности в отличие от животного или растения.

Конрад ему улыбнулся в ответ и отошел к окну с чашкой чая; там Матильда, краснощекая, грудастая (хотя и совершенно седая) завела с ним жеманно-кокетливый разговор, полный не-

домолвок и намеков. Конрад галантно отшучивался, прислушиваясь к внезапно заинтересовавшей его застольной беседе: констебль сообщил, что давеча в лесу ему повстречалась большая американская машина с литерами Иллинойса, наполненная пассажирами весьма подозрительного толка. Поскольку та часть дороги вне его юрисдикции, констебль ограничился тем, что позвонил предрежащим властям.

Аптекарь и Хан горячо заспорили: последний предлагал немедленно снарядить экспедицию в погоню за бандитами. Аптекарь же советовал только ограничиться обычными мерами предосторожности: поставить караул и выслать дозор. Финн соглашался то с одним, то с другим, раздражая обоих.

— Я не понимаю, чего они так боятся? — осведомился Конрад у своей веселой дамы. Та, не отвечая на вопрос, вдруг быстро и горячо шепнула ему на ухо:

— Хочешь, я скажу, что ты был моим мужем в Боффало и отобью тебя у Ипаты?

Конрад в ужасе отпрянул назад, а она тряслась всем старческим, опустошенным, аппетитным, как подогретое блюдо, телом; мягкие редкие седые кудряшки падали на ее припудренное, красное и потное лицо. — Их-хи-хи, — заливалась Матильда циничным, жестоким смехом. — Слышишь, Гус, я нашла тебе помощника!

— Нельзя ли выйти погулять, — обратился Конрад к жене, занятой у стола. — Я устал от болтовни.

Все на него посмотрели с неодобрением; Ипата объяснила, что время уже готовить обед.

— Ну, тогда я пойду с Фомою, — решил он и, не мешкая, взял мальчика за руку.

Опять это чувство блаженства от прикосновения маленькой ладони. Радость блудного сына, может быть, бледнеет перед ликованием падшего отца.

Они шли по кривой, огибая зеленый остров с белыми ламами. Зрелый день начала лета был пропитан негою, довольством и ароматом; казалось, отныне так будет всегда: тепло, светло и празднично... Только край неба далеко над рощею уже таил в себе возможные противоречия ночи и холода.. Фома болтал с присущими ему нотками горечи и сарказма. Это умиляло и пу-

гало Конрада: где и когда уже успели так обидеть мальчугана? Однако он старался не расспрашивать ребенка, заметив, что Фома обычно молчит в ответ на прямо поставленный вопрос. Если же вести себя осторожно, не выпытывать, то мальчик беззаботно и много говорил, иногда сообщая ценные сведения относительно местности, по которой они проходили, или поселян, попадавшихся навстречу и их обычаев. (Так, например, от него Конрад впервые услышал про "Ничье Время": между 1-ым и 13-ым января календарь в селении точно останавливался и 14-ое опять оборачивалось днем Нового года... Выходило, что в течение почти двух недель аборигены могли возвращаться назад по собственным следам, исправлять вольные и невольные ошибки, каяться в грехах, преобразать уже завершенное и бывшее делать словно небывшим.)

У рубежа, над первым крытым мостом, задом к мрачному, глубокому обрыву стоял как будто новый, но явно не законченный многоэтажный дом; похоже было, что жили только в одном крыле этого строения: все остальные части еще достраивались или ремонтировались. "Там, — сообщил по своей инициативе Фома, — квартирует вся семья Хана уже много лет."

Подойдя к площадке, на которой были разбросаны бревенчатые службы, принадлежащие этому капитальному дому, Фома решительно заявил, что здесь конец дозволенным прогулкам: дальше только сплошной лес!

— Тут Ипата ждала часто, — добавил он, ухмыляясь, показывая на пустырь, заросший до самого оврага бурьяном, лопухом и репейником; пахло сыростью и полынью.

— А, — равнодушно откликнулся Конрад, демонстративно зевая, — одной сидеть поди скучно.

— Какой ты странный, — заливался Фома, тормоша его. — Ведь здесь ты пропал, когда я еще не родился. Вошел в этот дом и не вернулся!

— Да? — Конрад опять попытался зевнуть. — Знаешь, сынок, — скрывая внутреннюю дрожь, присовокупил он, — ведь я этого почти не помню.

— Велика важность, подумаешь, — успокоил его Фома. — Амнезия. Душа не связана с прямой памятью. Ты слышал, что дед говорил!

— Побеседуем о том, как я ушел отсюда, — предложил Конрад, улыбаясь сыну. — Мне это часто рассказывают, а я все забываю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

в которой ребенок ведет взрослого

Фома охотно щебетал, морщась и посмеиваясь. Нетрудно было догадаться, что эту историю он слышал еще в колыбели, вместо сказки, и полюбил ее. (Мальчик, в сущности, был подвижной и юркий; во время рассказа он ни минуты не стоял спокойно, однако, из-за металлического протеза казалось, что он все время неловко подпрыгивает на одном месте).

— Осенью, в ненастный, бурный вечер постучали в дверь, — говорил быстро и уверенно Фома...

Опасно захворал Фредерик, зеленый Аптекарь, требовался человек для последнего напутствия. Конрад тогда исполнял обязанности помощника пресвитера, заменяя только что ослепшего деда — так что он с женою (на сносях) отправился к больному. Фонарь сразу задуло налетевшим вихрем с далеких озер; тропинка, залитая грязью, выглядела незнакомою. У этого злополучного, до сих пор не законченного дома, Ипата уселась вот здесь, под навесом, а Конрад прошел по мосткам к квартире страждущего. Одно окно наверху было освещено керосиновой лампой: видно было, как косой сетью ниспадал осенний дождь. Ипата заметила, как отворилась наружная дверь, мелькнула лохматая голова Хана и качнулась огромной тенью над оврагом. Опять стало темно; через минуту свет повис в окне на уровне второго этажа, затем исчез и появился выше, на открытой площадке с неубранными еще лесами. Оттуда им надлежало перейти по коридору на другую сторону дома, где находились жилые квартиры: две гигантские горбатые тени поплыли поверх рощи. И опять наступила крошечная тьма, нарушаемая только шелестом воды наверху, внизу и посередине.

Становилось неуютно, — серьезно сообщил Фома, и Конрад узнал голос Ипаты.

Ветер налетал отдельными порывами откуда-то с неба, и голые деревья звенели стеклянными ветвями. Ипата закуталась в шаль и прошла под навесом. Кругом навалены доски, кирпичи, мешки с цементом; пахнет краской, сосновыми опилками и гнилью. Молодая женщина закурила папиросу: тогда, после жизни в Чикаго, она еще курила (Фома уморительно подмигнул). Снова смирно уселась на бревнах: до следующей папиросы. Сколько требуется времени для пресвитера в таких случаях? Рыжий отец обернулся бы в пять минут. Конраду надо дать четверть часа. Если произойдет заминка, он даст знать! Ипата задремала.

Ей показалось, что уже светает, когда очнулась. Несколько крупных капель попало за ворот. В прореху облака выплыл молодой месяц, смакуя непогоду. Ипата удивленно оглядела дом, против которого дежурила: лампа потухла, окна зияли черными дырами — чудилось, что там, внутри, гораздо темнее и сырее, чем снаружи.

Она попробовала добраться до дверей, но провалилась в глубокую лужу. Уже осязая неминуемую беду, Ипата выбралась на тропинку и побежала в селение. Разбудила отца: слепой был тогда еще совершенно беспомощен. Ударили в набат. Пока собрались люди, снаряжались, вздыхали, расспрашивали, начало светать. Всем поселком ринулись к единственному многоэтажному строению (задуманному страховым обществом в городе, но незавершенному). Дверь открыл конюх Карл (тот самый азиатский дьявол, который будто бы возил Конрада на салазках в Финляндии).

Вскоре появился Хан; босой и в расстегнутой на волосатой груди рубашке, зевая и поеживаясь, он рассказал, что молодой пресвитер действительно заглянул к больному давеча: пошептался минут пять и ушел без провожатого, потому что у него был отвратительный карманный фонарик, какие продают в городе. Это все, что Хану известно, если не считать того, что Аптекарь, по-видимому, чувствует себя теперь значительно лучше.

На вопрос, можно ли выбраться из этого дома через другие

двери, Хан не без гордости показал путь по мосткам над лесами, довольно опасный даже днем. Выход этот вел по черной лестнице к самому обрыву над краем селения. Там дальше, как всем известно, начинаются дебри и трущобы, изобилующие диким зверем, бурными потоками, заросшими мохом трясиными. (Конрад внимательно посмотрел на уходящий отвесно и заросший кустарником яр: грунтовая дорога, очевидно, проходила там где-то впереди и, может быть, не очень далеко за ущельями, трясиными и горными ручьями).

На склонах оврага, в ямах, залитых бурной водою (довольно складно повествовал Фома), нашли одежду Конрада, его картуз, трубку. Народ в один голос решил: погиб, до весны даже следов его не сыщешь. После ледохода в этих местах, обычно, находят несколько обгрызанных хищниками остовов скитальцев, замерзших, пропавших без вести бродяг или злоумышленников.

Только одна Ипата отказывалась верить этому. "Он ушел, может быть, выполняя одному ему известное поручение", — заявила она решительно. — "Он когда-нибудь вернется, и тогда все откроется и объяснится; самое непонятное станет простым и естественным". Конрад отлично себе представлял, с каким видом Ипата выговаривала эти слова: тяжеловесная, упрямая, желтовато-светлая, твердокаменная, одинаково тихососредоточенная как во сне, так и наяву (словно чары другого мира просвечивались через кожу этого широкого большого лица с прозрачным, изгибающимся, тонким носом).

Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком.

— Я здесь условился встретиться с Яниною, — сказал вдруг Конрад, прерывая Фому и протягивая руку по направлению плотины, туда, где большое тонкое силовое колесо легко вращалось, питая энергией лесопилку (из плоского бревенчатого сарая, наполовину повисшего над водою, доносились прерывистые голоса). — Я подожду, а ты, если хочешь, беги домой, — предложил он вкрадчиво.

— Зачем ждать! Она здесь, за хутором! — неожиданно вырвалось у ребенка: он, видимо, еще находился под впечатлением рассказа.

По мосткам они добрались до плотины, пересекли ее, замочив подошвы, и снова по доскам вышли на дорожку, усыпанную щебнем и крупнозернистым бледным песком; лесная тропинка извивалась между двумя тихими обширными прудами, лоснившимися из-за деревьев (Конрад заметил вдали новые срубы).

Неожиданно открылся спуск в миниатюрную долину с игрушечной речкой вниз; по заливному лугу райски бродил рогатый скот. Дальше опять начинался крутой подъем, каменистый, едва прикрытый чахлой растительностью; там, на повороте, у вставшего на дыбы плоского валуна их встретила Янина. На ней был новый желтый корсаж и голубой (в мелких полевых цветках) ситцевый фартук поверх длинной синей юбки; и все-таки ноги то и дело обнажались! (Загорелые стальные точеные щиколотки, такие тонкие, что Конраду казалось возможным захватить их целиком пальто).

— Вот ты куда ведешь гостя, — нежно упрекнула она племянника.

Фома испуганно обхватил ее руками, зарываясь личиком в фартук.

— Ступай играть, — ласково сказала.

Мальчик, хромя, поскакал к ручью. Оправив короткие (в манжетах) рукава блузки, раздувающейся у плеч, Янина зашагала вперед, очень уверенно и женственно покачивая узким станом; юбка на подъемах развевалась, открывая взору маленькие стальные круглые икры.

Эти ноги почему-то приковывали все внимание Конрада: они, казалось, жили автономной жизнью двух благородных, независимых, веселых, умных близнецов. Он болезненно улыбался, переводя взгляд с ног на лицо Янины: маленькое, страстное, бледное, жертвенное и неуклонное, с большими озерами глаз — зелеными бесстрашными и виноватыми (точно соблазненной монахини). Иногда улыбка Конрада переходила в зачаточный вздох, стон.

Пахло сыростью, сеном, сосной (разогретой на солнце); Конрад взял ее руку: покорилась, как бы содрогнувшись. Они шли уже по роще, почти бежали по трудной дорожке, изрытой корнями, канавами, кое-где перескакивая через пень или поваленную колоду. Неслись тяжело дыша, задыхаясь от огромной

ноши, навалившейся вдруг, стремясь добежать до места, где можно ее сбросить. Мелькнуло стадо рябых березок, они замедлили шаг.

— Ты знаешь, что я тебя полюбил с первого взгляда, — выговаривал он, морщась от ненужного словесного хлама. — Ты знаешь все: с первого взгляда и навсегда! Надо решить и чем скорее, тем легче и лучше. Ничто не станет яснее завтра или через год, только сложнее и мельче. Мы суждены друг другу, и я не понимаю, как нам сегодня расстаться.

— Может быть, ты прав, — притворно соглашалась Янина, ведя его без дороги по лесу. — Допустим. Но, между прочим, ты женат, у тебя семья: Ипата, Фома, — она засмеялась. Гневные, зеленовато-серые и влажные глаза, огромные по сравнению с личиком; нос короткий, только начинал загибаться вверх и сразу обрывался, оставляя очень раздражающее, волнуемое, слегка вульгарное впечатление. Но когда она улыбалась, все существо, казалось, изливало доброту, нежность, узаконенную страсть и детское кокетство (под ее взглядом Конрад вдруг начинал ценить себя и жизнь: уважать). — Ты женат на моей сестре, помнишь? — между тем, не без лукавства, продолжала Янина.

— Кто поверит в этот бред! — возмутился он. — Я ее никогда не видал раньше, клянусь! Ты знаешь, я тебе не буду врать, не могу! Она встретила меня случайно ночью на дороге. Я устал, и к тому же у меня здесь дело в этом селении: опасное поручение. Товарищи ждут только сигнала там, у озер. Мы увезем Бруно и тебя. Повенчаемся в городе и навеки останемся друг с другом. Помоги только нам. И сразу, потому что времени не хватает. С кем ты была в церкви? — наступал Конрад, не давая ей вставить слова. — Юноша лет девятнадцати, сведи меня к нему.

— За это здесь могут убить, — тихо прошептала она и приникла к его груди: горячий, жизненный поток ощутимо лился из нее. Он начал осыпать поцелуями ее лицо (носик), шею, плечи и, наконец, дорвался: опустился на мураву и, обхватив ее ноги, долго ласкал, кусал, лизал. Янина стояла неподвижно; сухой, напряженный жар исходил от нее, обжигая его лицо и руки. Однако, когда, наконец, отпрянул, она упрямо проговорила:

— Нет, я не могу помочь.

После этого она тоже опустилась на колени и прижалась к нему, прилипла: губы к губам, руки к рукам, грудь к груди.

— Почему, почему? — страстно лепетал Конрад. — Любовь все преобразает.

— Меня убьют, — очень трезво объяснила она в промежутках между сухими, неумелыми, болезненными лобзаниями. — Ты не знаешь их.

— Мы убежим. Ты будешь моей первой женой, первой и последней. За Бруно мне обещали деньги. С деньгами в городе путь к счастью открыт. Ты и я. Навеки. У нас будут дети: настоящие, наши. И друзья: веселые, сильные, храбрые, влюбленные пары, подобные нам. А когда наступит срок, вместе умрем. Вот так, обнимемся и отойдем, с музыкой, вином, после причастия, — шептал Конрад, покрывая всю ее короткими злыми поцелуями.

Изнемогая, она все еще боролась.

— Разве тебя действительно тянет в город? Разве тебе не нравится здесь?

— Нравится—не нравится, — это не имеет отношения к делу, — грубо возразил он, припадая к ее маленькой обнаженной груди.

— Вот видишь, — лепетала она бессвязно.

— Вот видишь, уверял он восторженно. — В городе нам никто не помешает, а здесь невозможно. Бруно нам принесет все нужные средства.

Молча, она пыталась еще сопротивляться, но все соки ее молодого тела рвались к нему навстречу.

— Сведи меня к Бруно, — требовал между тем Конрад. — Мы втроем убежим, я знаю, он согласится.

— Никакого Бруно нет! — почему-то возмутилась Янина, на минуту приподымаясь с девственного мшистого ковра. — Ты имеешь в виду Мы. Тот, кого ты ищешь, зовется Мы. А про Бруно я ничего не слышала.

— Пускай Мы, какая разница. Это он, я знаю. Мне за него обещали миллион, — соврал Конрад. — Мне и моим товарищам. Даже десятой доли этого хватит на счастливую жизнь, поверь. Я люблю тебя, твои глазища: два зеленых пруда на страстном, бледном, невзрачном личике. Люблю твои ноги с круг-

лыми, маленькими, как груди, икрами. Люблю даже твой странный акцент французской Канады или славянских духоборов. Я тебя одену, как куколку, в шелка и меха, стану возить в лимузине с опущенными занавесками, чтобы никто не смотрел больше на твой вздернутый неприличный носик. Мы будем беспрерывно заняты друг другом: днем и ночью, зимой и летом, в городе и в поле, клянусь!

Она счастливо засмеялась и, наконец, приняла на мху ту позу, которую он считал наиболее целесообразной. И вскоре точно почва задрожала под ним, заходила ходуном; раздался вопль, клич, рев победы, торжествующий смех, ошелобив Конрада, даже напугав (ему почудилось: катастрофа, землетрясение, обвал). Только через несколько мгновений он сообразил: это она завершила впервые свой плотский райский круг и теперь блаженно стихала.

— Милый, драгоценный, — восторженно всхлипывала Янина. — Что это, небо или земля?

— Небо и земля воедино, — солидно поучал Конрад. — И это мы будем с тобою повторять повсеместно, дай срок.

— Неужели то же самое происходит со всеми? — недоумевала она, покрывая его руку мокрыми поцелуями. — Почему же они злые?... Ты с Ипатой то же проделываешь?

Он хотел подняться, оправиться, считая сеанс законченным, но девушка всполошилась:

— Нет, дорогой, теперь я хочу проделать для тебя тоже что-то подобное, райское.

Конрад не ожидал, что так легко, от одной брошенной искры, вспыхнет вдруг огромный древний костер. Растроганный и польщенный, он отдался ее ласкам.

Уже солнце склонялось за горы, тени безобразно удлинились, и на сухих прошлогодних шишках вспыхнули розовые зайчики. Пахло теплым дерном, муравьями, парной землей. Долго еще они, как плот без рулевого, кружили на одном месте, потеряв чувство меры, времени, себя и окружающего (по-новому воспринимая все). Смутно Конрад вспоминал Ипату, Фому, потом Бруно... и пытался растолковать Янине, что в этом нет ничего предосудительного, даже наоборот. (Ему представлялось, что эта быстрая и жаркая связь с Яниной стала возможна

только благодаря предварительной близости с Ипатою, подготовившей его, смягчившей душу.)

— Милый, — между тем внушала Янина. — Мы должны вести себя осторожно; хитро и тихо! Не доверяй Ипате, милый! — ее слова звучали убедительно.

Наконец, точно насытившись и приняв важное решение, она отстранилась:

— Помни, — сказала, усаживаясь рядом, почти голая: стройненькая, смуглая и стальная. Чета первозданных людей, Адам и Ева в северном раю, падшие и благодарные. — Помни! — мрачная складка легла над ее вздернутым смазливym носиком. — Помни! — в третий раз произнесла, не повышая голоса, но с напряжением. — Ты можешь еще отступить. Или же поклянись Богом и Святой Троицей, что не предашь никогда нигде меня и детей, которых мы уже зачали.

Он пробовал отшутиться, но Янина поднялась и сказала, неприятно хмуря неровный лобик над влажными большими глазами падшей монахини:

— Произноси за мною: "Проклята, проклята моя судьба, если я изменю Янине и детям, если оставлю их на день без хлеба или ласки". Повтори.

Она стояла, как изваяние, с темным, перекошенным, страстным лицом; только ноги, стройные, легкие, крепкие, делали понятным и действительным все, что произошло между ними.

— Ну, клянусь, — неохотно сказал Конрад.

— Нет, так: "Проклята моя душа, если я изменю тебе и детям, как изменял Ипате и Фоме."

Конрад вяло повторил этот бред; потом провел ладонями по ее личику, телу: складки и тени магически исчезали под его рукою. Янина облегченно вздохнула и опять просияла счастливой улыбкой.

— Ну, веди к Бруно, или Мы, скорее! — потребовал он. Янина молча и споро приводила себя в порядок, глядясь в него точно в зеркало.

— Ты знаешь, — объясняла она погода, когда они уже взбирались по другую сторону котловины (Конрад шел сзади). — Я связана клятвою. Мне поручили уход и надзор за Мы. Но ради тебя я изменю слову. Будь, что будет. С первого взгляда я поня-

ла, что ты—моя судьба. Как они могут утверждать, что ты ее муж! — возмущалась она, забывая про Бруно. — Ипата сошла с ума. Старик слеп. А остальным на все наплевать, только сохранить бы наследство Мы. Я им дам наследство, лентяям. Я помню мужа Ипаты, — опять начинала она волноваться. — Когда тот меня усаживал к себе на колени, мне всегда делалось жарко и стыдно, точно я сидела на горячей плите. Мне было тогда одиннадцать лет, и я ничего еще не понимала, и все-таки мне было стыдно. А с тобою мне совсем не стыдно. Совсем, — заглянула ему в глаза, улыбаясь смело и вопросительно.

— Конечно, это не я, — солидно поддержал ее Конрад. — Я родился в Европе, русский. Могу легко доказать. Все это бред, поверь. Хотя мне иногда начинает чудиться, будто я всех вас уже где-то раньше встречал. Но это вздор. Какая разница, кто я, откуда, чем занимаюсь... Главное — быть счастливым. С тобою вся полнота моя и осуществление. Без тебя — гроб. Нам остается только уговорить Бруно и бежать отсюда при первом удобном случае.

— Ты не сделаешь ему зла? — неожиданно спросила Янина, опять нахмурившись. — Он ведь особенный, — в ее голосе послышались виноватые нотки.

— Нет, что ты, что ты, — заспешил Конрад. — Мы его только увезем. Ему, наверное, тоже скучно здесь. Ты знаешь, ведь, по завещанию он — богатый наследник и сможет воспользоваться всеми преимуществами современной цивилизации.

— Ему это неинтересно, — покачала она головой: — Он другой, совсем другой.

— Ты только познакомь нас, — успокаивал девушку Конрад. — Дай нам поболтать на свободе, это все, что требуется. А зла ему никто не станет делать, поверь.

Теперь они шли по широкой аллее, меж двумя рядами высоких, даже гигантских кедров. Белка, еще наполовину в зимней шубке, прыгала с ветки на ветку, не отставая; синее небо вдруг потемнело. Приближался вечер. Янина остановилась, обняла Конрада и требовательно подставила губы.

(Продолжение следует)

Лидия Алексеева

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

С облаков наплывают летучие тени
В чашу кленов, осин и берез.
Мы — последние листья на ветке осенней,
Многих ветер, играя, унес.

Но пока еще солнце проходит по кругу
И последняя птица поет,
Мы дрожим на ветру и киваем друг другу,
Собираясь в прощальный полет.

И о счастье зеленом своем вспоминая,
Лист листу, торопясь, говорит ...
А когда облетит наша ветка родная,
Всех нас ласковый снег усмирит.

Май, 1987 г.

К 150-летию со дня смерти А.С. Пушкина

Владислав Ходасевич

О ДВУХ ОТРЫВКАХ ПУШКИНА

Три года тому назад, работая над "Поэтическим хозяйством Пушкина", я пришел, между прочим, к выводу, что стихотворение "Куда же ты? — В Москву", печатаемое всегда в качестве самостоятельной пьесы под вымышленным (и бессмысленным) заглавием "Из записки к приятелю", в действительности является просто окончанием стихотворения "Румяный критик мой", которое до тех пор считалось неоконченным. К моему мнению безоговорочно присоединились М. О. Гершензон, М. А. Цявловский и Б. Томашевский.

Тогда же, в процессе работы, возникло у меня еще одно предположение, отчасти сходное с предыдущим. Однако, несмотря на все поиски, никаких объективных подтверждений моей догадки на сей раз добыть мне не удалось, — точно так же, как я не встретился ни с чем, что могло бы послужить к ее опровержению. Поэтому я и решаюсь высказать свою мысль, в качестве всего лишь гипотезы, представляющей, может быть, известный интерес для любящих Пушкина.

Дело идет о стихотворении "Когда за городом". Для наглядности привожу его полностью по исправленному тексту, предложенному М. Л. Гофманом ("Пушкин и его современники", вып. XXXIII — XXXV, стр. 408-411).

Когда за городом, задумчив я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,

Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших маввзолей,
Дешевого резца нелепые затеи.

Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы так же тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном
покое.

Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор
Близ камней вековых покрытых желтым
мохом

Проходит селянин с молитвой и со вздохом.
На место праздных урн, и мелких пирамид
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колебясь и шумя...

Стихотворение известно в рукописи, представляющей собой вторую стадию работы, то есть, не первоначальный черновик, но и не окончательную беловую, а перебеленный черновик, тут же еще раз подвергшийся обработке, которая в нем коснулась тринадцати стихов из двадцати семи с половиной, составляющих пьесу. Возможно, что данная редакция этих двадцати семи с половиной стихов — окончательная. Но это не значит, что мы имеем законченную пьесу. Напротив, можно сказать с уверенностью, что

Пушкин собирался ее *продолжать*. В том убеждают ее содержание и построение.

В самом деле: первые шестнадцать с половиной стихов содержат гадливое описание пригородного кладбища, законченное энергически выраженным желанием: "хоть плюнуть, да бежать". Со второй половины семнадцатого стиха мысль Пушкина обращается к иному зрелищу — кладбищу деревенскому, изображенному с любовью и благоговением. Но тут пьеса на полустихе обрывается. Перед нами оказываются лишь теза и антитеза, два кладбища, внушающие поэту глубоко противоположные чувства и мысли. Совершенно ясно, что на этом Пушкин остановиться не мог. Не только он, но и любой сколько-нибудь зрелый художник видел бы, что из данного противопоставления должен быть сделан некий философический или хотя живописно-эмоциональный вывод, что взятый в этих стихах аккорд требует разрешения. Нельзя сомневаться, что эти двадцать семь с половиной стихов — лишь экспозиция более обширной пьесы. То, что мы под стихами находим дату: 14 авг. 1836 Кам (енный) Остр (ов) — ничуть не меняет дела: таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный этап работы, у Пушкина сколько угодно, он любил их.

Уже с начала 1833 года отношения Пушкина с петербургским обществом и с двором стали портиться. "Свинский Петербург" становится ему все более мерзок. В приведенных стихах сквозь жестокое описание городского кладбища слышится полная готовность с такою же или с еще большею резкостью высказаться о самом городе. Лживое и неблаголепное прибежище, болото, где "гниют все мертвецы столицы", конечно, показано Пушкиным в качестве логического завершения такой же лживой и гнилой жизни живых мертвецов в их столице. Желание Пушкина "хоть плюнуть, да бежать" с "публичного" городского кладбища, чтобы посетить "кладбище родовое", заключает в себе желание — бежать вообще из столицы в деревню. С какою силою оно владело Пушкиным в последние годы его жизни — слишком

общеизвестно. Мне кажется, что именно эта тема и должна быть развита в дальнейших строках стихотворения. Скажу прямо и коротко: вполне можно предположить, что вслед за приведенными двадцатью семью с половиной стихами, после некоторого недостающего соединительного звена, должно было следовать то, что привыкли мы почитать самостоятельной пьесой:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия — а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов, и чистых нег.

Но и на этом стихотворение не должно было заканчиваться. В его единственной (онегинской) редакции, представляющей также получерновик, вслед за стихами идет программа дальнейшего:

"Юность не имеет нужды в *at home*, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой*.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтич. — семья, любовь etc. религия, смерть".

Комментируя эту рукопись, М. Л. Гофман замечает очень правильно: "Подчеркнутые Пушкиным слова в первой приписке (то есть до слова "домой" — В.Х.), да и самый стиль ее, как будто говорят о том, что Пушкин переводил ее с английского языка и подчеркивал те слова, которые он или не точно передал, или которые выражали его затаенные желания, совпадали с ними. Что касается до второй приписки..., то она носит явно более автобиографический характер. Не исключена возможность, что стихотворение Пушкина внушено каким-

нибудь английским образцом, но совершенно несомненно, что мысль и образы, заключенные в нем, настолько совпадали с затаенными грезами поэта в 1834-1836 годах, что пьеса приняла характер поэтической исповеди”.

Вот мне и сдается, что "Пора, мой друг, пора"—и есть не самостоятельная пьеса (хотя издатели к ней присоединили заглавие "К жене"), а лишь *продолжение* стихотворения "Когда за городом". *Окончание* же набросано в виде программы и стихотворной обработке не подверглось (или эта обработка до нас не дошла). Оно должно было содержать мысли о достойной жизни после перенесения пенатов в деревню и о достойной кончине, в лоне поэтических трудов, любви, семьи и религии. Тема смерти должна была связать конец с самым началом, с экспозицией, данной в "Когда за городом...".

Такой ход пьесы мне кажется тем более правдоподобным, что он соответствует не только мыслям и настроениям "зрелого" Пушкина, но и находится во внутренней связи с некоторыми другими его стихами: с попытками перевода "Hymn to the Penates" Соути и особенно с черновым наброском:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

На них основано семейство — и проч.

Заканчивая эту заметку, еще раз подчеркиваю, что высказанное здесь мне представляется не более, как гипотезой. Быть может, будущие находки пушкинских рукописей (на что, впрочем, мало надежды) ее подтвердят, быть может — опровергнут. В настоящую минуту для опровержения документальных данных не существует.

(Еженедельник "Звено", 1927, N. 197.

Из собрания издательства Серебряный Век.)

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ О ПУШКИНЕ

В критической литературе о Георгии Иванове нет ни одного упоминания о его статье "Жертва Пушкина". Напечатана она была в недолговечной, но весьма солидной петроградской газете "Русская воля", N. 23, понедельник, 23 января 1917 года. Первый номер этой газеты вышел 15 декабря 1916 года. Ее литературным отделом заведовал Леонид Андреев. Круг авторов был довольно устойчивым. Новые имена на страницах этой газеты появлялись весьма редко. Таким было, к примеру, имя Михаила Кузмина, напечатавшего здесь два-три своих стихотворения. Кроме часто печатавшегося Леонида Андреева, в газете принимали участие Амфитеатров, Немирович-Данченко, Тан, Муйжель. Платформа "Русской воли" была определена в редакционной статье "Наши задачи", помещенной в первом номере газеты. "И прежде всего и после всего, — говорилось в статье, — "Русская воля" — орган реального мировоззрения, выраженного во внепартийной прогрессивно-демократической программе, стоя на почве которой газета сумеет прямо и твердо взглянуть в глаза русской действительности, не обольщаясь розовыми утопиями, не впадая в унылый пессимистический скептицизм".

О своем сотрудничестве в "Русской воле" Георгий Иванов вспоминал незадолго перед смертью в юбилейной заметке об Алексее Ремизове: "...Газета "американского размаха" — все "самое лучшее" от объема до "имен" и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником "Аполлона", но, очевидно, по принципу "у нас на все стили хватит", приглашения сотрудничать в "Русской воле" удостоился и я. Леонид Андреев... заявил мне: "Пишите что и как хотите, мы вас не стесняем"... "С высоты" своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире звания сотруд-

ника "Аполлона", заместителя Гумилева я от души презирал тогда и авторитет Гримма, и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником "Русской воли" (по совету того же Гумилева) я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах."

Газета просуществовала лишь около года. За это время Георгий Иванов напечатал в ней три статьи — все они "исключительно о стихах". Писал он о Блоке, Брюсове, Клюеве, Есенине, Клычкове. И отдельную статью посвятил Пушкину. Вскоре после Февральской революции в одном из мартовских номеров под рубрикой "маленький фельетон" появилась публикация, озаглавленная "Не создавайте легенд". Подписана она была псевдонимом "Иван Г." Есть основания считать, что эта заметка также принадлежит перу Георгия Иванова. (Но рассмотрение подробностей в данном случае неуместно — оно увело бы нас от нашей цели). В "Русской воле" была напечатана также рецензия крупнейшего литературоведа Виктора Жирмунского на сборник стихов Георгия Иванова "Вереск". Эта рецензия, важная для всякого исследователя акмеизма, настолько же забыта и практически неизвестна, как и статья самого Георгия Иванова "Жертва Пушкина".

Статья эта представляет особый интерес еще и потому, что она является единственной когда-либо написанной Георгием Ивановым статьей о Пушкине. Однако высказываний о нем и упоминаний его имени в наследии поэта довольно много. Уже в первом его сборнике (1912 год) встречается эпиграф из Пушкина, предпосланный циклу "Любовное зеркало". В сборнике "Памятник славы" (1915 год) видим стихи, написанные под влиянием пушкинской лиры:

Опять на площади Дворцовой
Блестит колонна серебром.
На гулкой мостовой торцовой
Морозный иней лег ковром.

Хотя первой поэтической любовью Иванова был Лермонтов, тем не менее, как почти все большие русские поэты, он не избежал преображающего пушкинского влияния. Само имя великого поэта часто встречается в стихах Иванова. Приведем строфу из книги "Лампада":

Легки оковы бытия...
Так, не томясь и не скучая,
Всю жизнь свою провел бы я
За Пушкиным и чашкой чая.

"Пушкин не достижим и не превзойден", — писал Иванов в статье "Жертва Пушкина". Но в ней же была высказана его мечта о "превзойденности" Пушкина. К этой мечте он возвращался неоднократно. Видим мы этот "возврат" и в его статье "Почтовый ящик", написанной через семь лет после "Жертвы Пушкина": "Пройдут годы, может быть, десятилетия, пока это случится. Но я уверен, что случится неизбежно. Этот варвар со всею силою своего гения, молодости, напора докажет, что роль Пушкина в русской поэзии кончена. И "Прекрасная легенда" о великом русском поэте рухнет в день, когда в витринах книжных магазинов появится его книга, статья, не знаю что. А потом? Кончится русская поэзия? Или тут-то и начнется всерьез?"

Эти парадоксы молодости, подготовленные в недрах акмеизма, еще раз всколыхнулись в сознании Георгия Иванова в период "Распада атома": "Красуйся, град Петров и стой", — задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин..." А одна из глав "Распада" заканчивается трагическими словами: "По чужому городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его. Он не противится ей. Уходя, он бормочет про себя: "Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула?"

Это писалось в годы кризиса, трагических сомнений, внутреннего разлада, в крайней экзистенциальной ситуации — "у бездны на краю". И все же в таком состоянии, когда "не до литературы", Пушкин был с ним, Пушкиным проверял он свои художественные взгляды. При всем его безупречном вкусе, в этих взглядах был слишком силен привкус нигилизма. Но вот судьба! — даже в периоды максимального отталкивания от признанных ценностей, Пушкин присутствует как светлый и гармонический фон этого пронизательного, талантливое, но несчастного сознания. Кажется, были дни в его судьбе, когда он боролся с Пушкиным, как Иаков с Богом. Такое выстраданное восприятие Пушкина куда ценней и поучительней любых традиционных восторгов. Этот диалог с Пушкиным, длившийся в

течение всей жизни, — один из примечательных в литературе. Диалог продолжался до конца. Вот стихи Георгия Иванова, написанные в августе 1958 года, буквально за несколько дней до его смерти:

...Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

Вадим Крейд

Георгий Иванов

ЖЕРТВА ПУШКИНА

Пушкин — наше все.

Аполлон Григорьев

”Господин барон! Позвольте изложить вам вкратце все, что случилось. Поведение вашего сына было мне давно известно, и я не мог относиться к нему равнодушно. Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться в дело, когда сочту это нужным. Случай, неприятный во всякое другое время, выпутал меня из затруднения. Я получил безымянные письма... Я увидел, что пришла минута действовать”...

Преодолев горечь и боль, ненависть к заклеяменному убийце, сознание невознаградимости того, что совершилось восемьдесят лет назад в эти жуткие январские дни, — перечтите внимательно страшные страницы последних писем Пушкина к барону Геккерену, виконту д'Аршиаку, Бенкендорфу.

Иногда биография бывает лишней, иногда она даже мешает оценке творчества, связанная с ним лишь внешне. Но связь поэзии Пушкина с его затравленной и смятенной жизнью так органична, что их совершенно невозможно разделять.

Казалось бы, что общего? Долги, Сергей Львович, оскорбительное камер-юнкерство, и —

Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв.

Любовь Гончаровой, через ряд обид и тревог, приведшая поэта к Черной речке и 27-му января, и —

Мне ниспослал тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Но именно в этих противоречиях отравленной жизни и ясной лирики есть разгадка той магической силы Пушкина, перед которой бледнеют все без исключения русские поэты.

В поэзии, как и в жизни, есть герои и есть мирные созерцатели. Вспомним Некрасова, вспомним Тютчева.

Героическое горение Некрасова целиком отражено его творчеством, столь же пламенным, как и несовершенным. Героическая улыбка равнодушного зрителя проницает каждую строку Тютчева. У обоих стихи есть преодоление жизни. Поэзия Пушкина есть жизнь, преодоленная искусством!

Он был и героем, и созерцателем в одно время. Некрасов мог только биться и задыхаться в борьбе, Тютчев лишь мудро созерцать, пребывая в совершенном покое. Пушкин же, сквозь дым и пламя убийственных тревог жизни, видел мир ясно и просто, как видят дети.

Стихи Пушкина обманчиво спокойны. Но надо помнить, что необычайный творческий такт поэта позволяет нам различать лишь дальние раскаты грозы в стихах такого напряжения, где голос каждого другого не выдержал бы и сорвался в простой выкрик!

“Поэт должен жить всей жизнью своего времени”. — Пушкин свято следовал этому завету Данте. Он равно далек и от холодного творчества искусства для искусства, и от буйных выкриков музыки, неистово бьющей себя в грудь.

Именно поэтому Пушкин недостижим и непревзойден. Мастерство его стихов чрезвычайно высоко, но многое, созданное Лермонтовым и Тютчевым, стоит в этом отношении не ниже. Есть, пожалуй, в русской поэзии несколько стихотворений, способных взволновать глубже

и очаровать сильней. Но жизненный и творческий подвиг Пушкина так велик, что даже всеобъемлющее слово "гений" не покрывает его личности целиком.

Образ Великого Петра не случайно привлекал поэта. Почти безумное в своей неслыханной смелости. строительство, — новой России на невежестве и стрелецких бунтах, самого стройного и законченного из наших городов на гнилом Финском болоте, — не есть ли прообраз пушкинского творчества? И как все в новой русской культуре вращается вокруг оси, мощно утвержденной Петром, так и русская поэзия, не опираясь на Пушкина, не могла бы гармонически развиваться.

Все мы верим в наше славное будущее. Все с нетерпением ждем поэта, который сравнялся бы с Пушкиным, принес бы нам новую радость. Придет он и многое, сияющее теперь, потускнеет, многое изменится, многое станет чуждо. Но творческий облик Пушкина, мы твердо знаем, никогда не перестанет быть символом поэта, никогда его место в истории русской поэзии не перестанет быть центральным.

Пушкин так велик и драгоценен для всей русской культуры, что положено считать смерть его просто ужасным случаем. Нет, как не случайно жизнь его была горька и любовь отравлена, так и смерть от руки жалкого фата — не случай, но высокая и славная жертва. В ясную лирику претворялась жизнь и любовь, чистейшим, неугасимым идеалом творческой обреченности стала смерть.

Хвала, он русскому народу
Высокий жребий указал.

И тем выше, тем светлей и ответственной этот жребий, что он омыт пролитой кровью. И чьей кровью — Пушкина!

ИЗ МАРСЕЛЯ ПРУСТА

Перевод И. Чиннова

* * *

Жалость, сочувствие, о, всепрощение —
Сколько там нежности сквозь облака!
Разве всё это опять проявление
Мертвой материи или же
Это явление Божье?

Если голубизна ваших глаз грустна,
Это от нелюбви? От любви?
От любви к тому, чего нет — c'est la vie
В этом мире? Любить — грустить.
Жалость, которая так нежна,
Льет синеву в зеленые ваши глаза,
Будто над морем луна.

Кажется, бесчувствие природы влилось
В темные пустоты наших сердец.
Лживую игру природа-слепец
Играет в небе, в этом опале, в глазах,
Где промелькнула — любовь? Нет, ложь.

Хрусталик-обманщик в наших зрачках,
Плотные слои воздуха — солгали нам,
Лгали, увы, чтобы вечные наши печали
Обмануть — природой, женщиной или глазами,
И нежность бледного голубого
Только обман — и в этом опале,
И в небе закатном, и в ваших глазах.

КАРТИНА АНТУАНА ВАТТО

Сумерки окутывают деревья и лица
Мантией синей своей, под маской неясной.
Прах поцелуев лежит на устах утомленных.
Смутное сделалось нежным и самое близкое — дальним.

Маскарад меланхолический, отдаленный,
Делает жест любви, самый лживый, грустный, прелестный.
Каприз поэта — или знает мудрый любовник,
Что требует любовь обдуманных украшений
И вот паруса, пиры, музыка и молчанье.

Из книги "Les plaisirs et les jours"

Н. Б.

МОСКВА И МОСКВИЧИ ВОКРУГ БУЛГАКОВА

Стронские, Николай Михайлович, его жена Вера Яковлевна и сын их Игорь, жили в Москве на углу Обухова (ныне Чистого) переулка и Пречистенки (ныне Кропоткинская улица, 24) в Калябуховском доме, как назвал его Михаил Афанасьевич Булгаков в своей повести "Собачье сердце". Действие повести происходит именно в этом доме. В нём же жил дядя, родной брат матери Михаила Афанасьевича, Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог и бывший ассистент знаменитого московского профессора гинекологии Владимира Фёдоровича Снегирева (1847-1916 гг.). Прообразом главного героя повести Булгакова, Филиппа Филипповича Преображенского, и был Н. М. Покровский. В одной с ним квартире жил и другой дядя Булгакова — Михаил Михайлович, и две их племянницы. Таким образом, дом был близок и хорошо знаком писателю. Сам Булгаков в середине 20-ых годов, а именно в 1925 году, поселился с женою совсем рядом — в том же Обуховом переулке, 9. Здесь семья Булгаковых и узнала об обедах у Стронских. По цепочке об этом стало изве-

Рукопись получена по каналам Самиздата и любезно предоставлена "Новому Журналу" издательством "Серебряный Век".

Печатается без ведома автора.

Журнальный вариант. Полностью будет опубликована в 6/7 выпуске альманаха "Часть Речи".

© Silver Age Publishing.

стно их друзьям: Лямины и Шапошниковы стали ходить обедать в Обухов переулоч.

А повесть "Собачье сердце" создавалась своим чередом:

"По всей Пречистенке горели фонари... Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью — как бы не утратить в сутолке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И семь раз на протяжении Пречистенки до Обухова переулоча он её выразил. Поцеловал в ботинок у Мёртвого переулоча, расчищая дорогу диким воем, так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе...

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулоч".

Упоминающийся в тексте Мертвый переулоч ныне называется улицей Н. Островского.

Так как близкие его родственники жили в доме с давних пор, Булгаков, конечно, очень хорошо знал все события и передраги в доме, естественно связанные с переменой власти и началом нового режима жизни дома:

" — Не угодно ли, калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчёркиваю красным карандашом — "ни одного случая", чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала хоть бы одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 1917 года, в один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор запирать на замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил. Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный ход?"

Вот через этот-то второй подъезд нужно было подниматься на третий этаж к Стронским. Ляminy ходили к Стронским каждый день, а Булгаковы и Шапошниковы — по воскресеньям. Иногда с Булгаковыми приходила обедать Марика Артемьевна Чимишкиан, их тифлисская приятельница, недавно переехавшая в Москву.

Воскресные обеды обычно оканчивались затягивавшимися на продолжительное время общими разговорами. Вот в такой-то послеобеденный момент, однажды, Борис Валентинович Шапошников сделал эту фотографию.



На снимке сидят слева направо: Михаил Афанасьевич Булгаков, его жена Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова, Наталия Казимировна Шапошникова, Вера Яковлевна Стронская, Наталия Абрамовна Ушакова; за ними, между Любовью Евгеньевной и Наталией Казимировной, сзади сидит Марика Артемьевна Чимишкиан; стоят слева направо: Николай Михайлович Стронский, Игорь Стронский, Николай Николаевич Лямин и человек, временно живший в то время у Стронских и столовавшийся с ними, грузин, врач по тропическим болезням, имени которого сейчас уже, кажется, никто не помнит.

Видно, что общество не только позирует перед фотоаппа-

ратом, но и развлекается: пошли уже разговоры, бесконечные шутки, остроумные словесные выходы, которыми всегда отличались встречи этих людей. Снимок относится к 1928 году. Люди уже давно, несколько лет знакомы друг с другом. Постоянно видятся у общих знакомых или друг у друга, встречаясь часто и с удовольствием. Всем им, примерно, от 30 до 40 лет.

Именно в 1928 году Михаил Афанасьевич Булгаков на подаренном им жене экземпляре сборника рассказов "Диаволиада" написал: "Моему другу, славному парню Любочке". Этот "славный парень" очень отвечал духу тогдашних взаимоотношений между этими людьми.

Кто же были все эти люди?

Самыми близкими друзьями Булгаковых были Ляminy: Николай Николаевич Лямин и его жена Наталия Абрамовна Ушакова.

Николай Николаевич Лямин (1892-?) родился в Москве, в 1915 году окончил историко-филологический факультет Московского университета и был оставлен при университете по кафедре западноевропейской литературы и языковедения. Преподавал русский язык в школе, служил архивистом в Государственном архиве, в университете читал лекции по западноевропейской литературе. В 1922 году был избран сотрудником Государственной академии художественных наук (ГАХН). Помимо научной и педагогической деятельности занимался ещё и литературной работой в издательстве "Новая Москва" в качестве переводчика, рецензента и редактора отдела хроники в "Сборниках по западной литературе". Кроме того, темами его работ были: "Альфред де Виньи", "Ронсар и Плеяда", "Образ Бодлера" и т.д.

Потом, позже, в 1937 году, вслед за многими и многими арестами большинства самых близких друзей и разных знакомых, Николай Николаевич Лямин был арестован и осужден на проживание под надзором милиции вне больших городов страны. Наталия Абрамовна Ушакова, его жена, художница, книжный график, в основном, детской книги, в момент обрушившегося в 1937 году на их семью страшного несчастья сумела найти мужу комнату в городе Калуге, где Николай Николаевич вынужден был жить и жил до самой войны, а в 1941 году его вновь насильственно переселили куда-то за Урал, а после этого све-

дения о нём не поступали. Он исчез, и его жена никогда не смогла узнать о его дальнейшей судьбе.

Впоследствии Булгаков, безусловно, очень тосковал по своему утраченному другу. Михаил Афанасьевич был человеком очень непростым, глубоким, не чуждым (особенно в конце 30-ых годов!) подозрительности. С таким трудом прокладывал он себе путь писателя и, поистине, путь этот был тернист, ибо жил он в атмосфере злобы, зависти и катастрофического непонимания его как писателя.

Поэтому близким ему другом мог быть только человек чуткий, добрый, конечно, широкий и щедрый на дружбу, каким и был Николай Николаевич Лямин, умнейший Коля Лямин с его большими сияющими глазами, любивший шутку и радость жизни.

Именно в доме у Ляминых происходили чтения всех новых произведений Булгакова в течение 20-ых и начала 30-ых годов. Каким блеском эрудиции, остроумия, юмора были наполнены эти чтения в кругу людей, настроенных дружелюбно, доброжелательно, но и критически. Вся когорта друзей уютно устраивалась в гостеприимном доме Ляминых, которые занимали однуединственную, но большую комнату с камином и широким, выходившим во двор и на кроны деревьев, окном в довольно густонаселённой коммунальной квартире N. 66 на втором этаже бывшего доходного дома N. 12 по Савельевскому переулку (в 3-5 минутах хода от Пречистенки, через Остоженку, нынешнюю Метростроевскую улицу, в сторону набережной Москвы-реки). Все они жили тогда рядом друг с другом. Наталия Абрамовна Ушакова живет в этой комнате с 1922 года. Когда-то стены этой комнаты слышали голос Булгакова, читавшего, страницу за страницей, свои произведения, в том числе первые варианты бессмертного романа "Мастер и Маргарита".

Вот двойной портрет Наталии Абрамовны Ушаковой, сделанный тем же Борисом Валентиновичем Шапошниковым, который, будучи фотографом-любителем, занимался фотографией увлечённо и любил фотографические фокусы.



Так же как мужья их, Любовь Евгеньевна и Наталия Абрамовна были близкими друзьями, каковыми и являются по сей день, по прошествии вот уже более шестидесяти лет! В 1929 году Б. В. Шапошников сделал этот снимок.



Шапошниковы, Борис Валентинович, Наталия Казимировна и сын их Вадим, жили на углу Малого Лёвшинского переулка и

Пречистенки (ныне Кропоткинская ул., 32), в доме, где помещался ГАХН.

Наталия Казимировна Шапошникова (1894-1979 гг.), урождённая Бравич, — мы видим её на первых двух фотографиях, — была актрисой. Она окончила в Москве студию им. В. Ф. Комиссаржевской и работала в театре им. В. Ф. Комиссаржевской и в Московском Детском театре вместе с начинавшей тогда известной деятельницей театрального искусства для детей Наталией Ильиничной Сац. В середине 20-ых годов она по настоянию мужа оставила сцену. Наталия Казимировна была дочерью Казимира Викентьевича Бравича (1861-1912 гг.), известного сначала петербургского, потом московского актёра, о котором восторженно писал Александр Блок.

Борис Валентинович Шапошников (1890-1956 гг.), художник, искусствовед и музейный работник, был сотрудником и действительным членом ГАХНа с самого его основания. Вот он сам.





Первый снимок относится к 1912-1913 годам, когда Борису Валентиновичу было 22-23 года (ученик Сапунова и Теофилактова в студии Юона в Москве, он в 1911 году занимался живописью в Академии художеств в Риме), был членом московского художественного объединения "Бубновый Валет".

На втором снимке — Шапошников во дворе ГАХНа у окна своего кабинета (1928-29 гг.). Кроме занятий живописью, Борис Валентинович окончил историко-филологический факультет Московского университета и Московский археологический институт,

существовавший в Москве с 1907 по 1922 год.

Третий снимок относится к 1930 году, когда Борис Валентинович уже находился в ссылке на Севере, в городе Великий Устюг, куда были сосланы, кроме него, сотни других людей, от бывших промышленников, людей купеческого звания, священнослужителей до представителей разного рода интеллигенции, гуманитарной или научно-технической. Не все эти люди могли найти себе работу или хоть какое-то применение в маленьком провинциальном северном городке. Очень скоро в городе не стало хватать для них продовольствия. Голодали и жестоко голодали, особенно в зимние морозы. Жили странной жизнью перемещённых лиц, кормясь охотой или приобретёнными по случаю продуктами. Старались делиться друг с другом. Среди этих людей ещё существовало человеколюбие.

Возвратившись из ссылки, Борис Валентинович совершенно изменил свой образ жизни и даже свои занятия. Он полностью оставил живопись и, обладая обширными знаниями в области искусства и литературы, занялся исключительно музейным делом, связанным с русской литературой. Ценимый за широкую образованность, Борис Валентинович стал директором Музея Л. Н. Толстого в Москве (Кропоткинская, 11), а затем, в конце 40-ых годов, также стремясь резко изменить свою жизнь, чтобы, может быть, как-то спастись от постоянно висевшей над ним, как и над многими другими, угрозы репрессий (если хорошо вспомнить, то конец 40-ых и начало 50-ых годов в этом отношении были, как и 30-ые годы, крайне суровыми), он переехал в Ленинград и занялся восстановлением музеев и музейных комплексов, связанных с именем Пушкина, стал директором Музея Пушкинского дома (Институт русской литературы).

А тогда, ещё в 20-ые годы, к которым, в основном, и относится самое близкое общение Бориса Валентиновича с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, часть его кабинета в ГАХНе была оклеена красивыми обоями с цветами и птицами. Портреты близких ему людей Борис Валентинович любил делать на фоне этой цветастой, пёстрой стены, стремясь, чтобы фон портрета получался как можно менее чётким, образуя пятнистое поле в тон с самим портретом. При таком эффекте получалось впечатление большей объёмности портрета.



М.А. Булгаков — 1928 г.



М.А. Булгаков — февраль 1929 г.



*Л.Е. Белозерская-Булгакова —
1928 г.*



М.А. Булгаков — март 1929 г.

*Н.А. Ушакова — 1928 г.**С.С. Топленинов — 1929 г.*

Перебравшись из Обухова переулка в Малый Лёвшинский, 4, Булгаковы оказались уже совсем непосредственными соседями Шапошниковых: они стали жить на "чётном углу" Пречистенки и Малого Лёвшинского, а Шапошниковы жили на другом, "нечётном углу", были, таким образом, их vis-a-vis. Михаил Афанасьевич заходил в ГАХН, где было много его друзей. Приходил и в кабинет Бориса Валентиновича.

На следующей фотографии Михаила Афанасьевича нет, но мы видим здесь и Ляминых, и Наталию Казимировну Шапошникову, и их близкого друга, художника Сергея Сергеевича Топленинова.

Здесь, в этом кабинете, но с другой его стороны, там, где стены были оклеены обоями, на стуле у стены, который мы видим справа, Борис Валентинович фотографировал Булгакова.



Три портрета Булгакова на предыдущих снимках кажутся сделанными в одно и то же время. Однако, нет, они сделаны в разные дни, даже в разные месяцы. Булгаков был всегда очень подтянут, одет опрятно. А особого разнообразия в одежде в те времена ни у кого из них не было.

На первой фотографии мы видели семью Стронских. Это были милые, гостеприимные, неизменно любезные люди. Но описанные в повести "Собачье сердце" разговоры в гостиной и столовой, обеды, беседы за курением, подробности быта дома вплоть до его новых жильцов жилтоварищества, прислуги и швейцара не имеют отношения к этим хлебосольным хозяевам, а связаны, конечно, с квартирой Покровских, как уже было сказано, близких родственников Михаила Афанасьевича, живших в том же подъезде дома, но этажом ниже.

Совсем: рядом с Малым Лёвшинским, стояло только перейти Пречистенку и пройти два-три дома по Мансуровскому переулку, был дом N. 9, где жили Топлениновы: Сергей Сергеевич, его тогдашняя жена Мария Георгиевна, впоследствии Мищенко, его брат Владимир Сергеевич и жена брата Евгения Владимировна, прожившая в этом доме последней представительницей семьи до 1980 года.

Дом был маленьким, одноэтажным, бревенчатым, с высоким кирпичным подвалом и небольшим садом вокруг, он принадлежал Топлениновым и так как, воистину, пути Господни неисповедимы, так и остался за ними до 80-ых годов. Несколько комнат в доме сдавалось. Уютно и красиво здесь устраивались встречи Нового года, семейные дни рождений. Дом был гостеприимным и весёлым. Сергей Сергеевич Топленинов был художником, макетчиком. Много работал вместе с известнейшим театральным художником Владимиром Владимировичем Дмитриевым (1900-1948 гг.), который часто бывал и у Булгаковых и у Шапошниковых.

Во время встречи нового 1930 года Борис Валентинович Шапошников сделал фотографию Сергея Сергеевича Топленинова, хорошо передающую быт и атмосферу дома.



Комната Сергея Сергеевича и Марии Георгиевны Топлениновых была, по-видимому, воссоздана Булгаковым в романе "Мастер и Маргарита". Описание комнаты Мастера, её внутренней обстановки в большой мере соответствует топлениновской комнате. Но подвальчик Мастера — это вполне собирательный образ, не имеющий за собой какой-то более или менее конкретной реалии, поэтому здешний, топлениновский подвальчик можно рассматривать только как ещё одну комнату, в стенах которой бывал, дышал, двигался, говорил и веселился вместе с

другими Булгаков, этот большой и поразительно своеобразный писатель, этот маг и волшебник, населивший места, которые он посещал, своими незабываемыми образами.

1930 год был роковым и для Сергея Сергеевича Топленова. Он тоже, как и многие другие, вынужден был какое-то время после ареста и обвинения в несуществовавших грехах перед советской властью жить в городе Вельске, где он работал художником в клубе. На время опустел и этот дом для Булгакова. Да и собственные его дела были день ото дня хуже. Жить было трудно и неприятно.

А, между тем, они старались хотя бы морально помочь друг другу, поддерживая товарищей весёлым нравом и шутками. Среди них очень в ходу были прозвища: Михаил Афанасьевич назывался Мака, Любовь Евгеньевна носила разные прозвища (она пишет об этом в своих воспоминаниях), Наталия Казимировна звалась Мума или Казязя, Борис Валентинович Пупа, Наталия Абрамовна — Тата, Марика Артемьевна — Марика, Маррон.

Вот он, угол Пречистенки и Малого Лёвшинского переулка у дома Булгаковых, где сотни раз, туда и обратно, ходили и сам Михаил Афанасьевич, и его друзья.



Слева направо стоят: Михаил Афанасьевич Булгаков, Вла-

димир Николаевич Долгорукий (писатель, носивший псевдоним Владимиров, о котором в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна пишет, что он был "придворным" поэтом всей их компании), Сергей Сергеевич Топленинов и Петя Васильев (ещё один друг, часто бывавший в доме Булгаковых).

Углового дома, где жили Булгаковы, в настоящее время не существует; здесь были снесены маленькие двух и трехэтажные старые московские домики, и на их месте выстроен совершенно безликий современный дом, каких много стоит теперь как во Владивостоке, так и в Москве, в Подмоскovie, Минске, Киеве, и т.д.

Михаил Афанасьевич очень дружил с Сергеем Сергеевичем Топлениновым. Это был один из наиболее дружеских ему домов в Москве. Нет-нет да и собиралась здесь партия в карты. Обычно играли: Сергей Сергеевич Топленинов, его жена Мария Георгиевна, Михаил Афанасьевич и их сосед, живший за Остоженкой, Иван Никитинский, двоюродный брат Николая Николаевича Лямина, также бывший близким знакомым Булгакова. В этом же доме вскоре после женитьбы поселилась в 1930 году семья Ермолинских. Они сняли там предложенную им хозяевами комнату.

Мы видели Марику Артемьевну Чимишкиан на первой фотографии. Она вышла замуж за Сергея Александровича Ермолинского в октябре 1929 года и прожила в замужестве 27 лет, до 1956 года.

Марика Артемьевна, переселившись в Москву из Тифлиса (ныне Тбилиси) в 1928 году, на протяжении всех 12 последовавших лет жизни Булгакова близко дружила с ним, всегда и неизменно пользуясь его глубоким к себе расположением.

Марика Артемьевна была посредницей между Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной после 1932 года, когда они разошлись и Булгаков женился на Елене Сергеевне Нюренберг-Шиловской. Он неизменно продолжал заботиться о Любви Евгеньевне и, когда мог, трогательно посылал ей деньги и, конечно, свои устные и письменные послания. Марика Артемьевна вместе с Еленой Сергеевной и сестрой писателя Еленой Афа-



Надпись на фотографии гласит: "Маррону милому! М. Булгаков. 1928 г. 19 ноября" (фотография сохранилась в Тбилиси).

насыевной провела у постели умиравшего Булгакова многие дни, всемерно стараясь облегчить его страдания от тяжелой болезни (Булгаков умер от почечной гипертензии и уремии), вплоть до его последнего вздоха — 10 марта 1940 года в 16 часов 39 минут.

Если уж говорить о друзьях и знакомых Михаила Афанасьевича Булгакова в его московской жизни, необходимо кос-

нуться темы, непосредственно связанной с Булгаковым — воспоминаний Сергея Александровича Ермолинского о нем, напечатанных в 1966 году в журнале "Театр" и в значительном расширенном виде вошедших в опубликованную в 1982 году отдельную книгу, в которой были напечатаны и его пьесы.

Поразительно, как иногда даже незначительные вещи становятся вдруг свидетелями правды и неправды. Ведь, например, не так уже, казалось бы, важно, вниз или вверх вели ступеньки в кабинет писателя! Однако, когда к неверным сведениям об этих ступеньках прибавляются и другие неверные сведения и когда, таким образом, в сознании человека, читающего воспоминания о большом писателе, таких неточностей оказывается целая вереница, то они неприятно диссонируют с тем, что волею судеб этому человеку было известно всю его жизнь, с детства, и тогда ему становится удивительно не по себе. К конкретным предметам примешиваются имена, адреса и общие понятия, с отношением Ермолинского к которым нет возможности ни примириться, ни согласиться. Вот эти вещи и заставляют такого читателя попробовать по мере возможности защитить то, что показалось ему нестерпимо искаженным в воспоминаниях Ермолинского, претендующих на правдивость, достоверность, выдаваемых за сведения, полученные из первых рук.

Шаг за шагом, выясняется, что как Ермолинский ни старается утвердить себя в ранге очевидца, сведения-то читатель получает из вторых и третьих рук, а вовсе не из первых.

С воспоминаниями Ермолинского о жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, с оценкой его окружения невозможно согласиться, а отдельные вещи просто возмущают современников, друзей и близких писателя, так же как и людей более молодого поколения — тех, что были непосредственно связаны с этим кругом и наслышаны о Булгакове с детства. Я говорю "наслышаны" потому что Михаил Афанасьевич умер давно, в 1940 году, то есть 45 лет тому назад, оставив после себя яркую и долгую память. С тех пор, естественно, дети и внуки его друзей успели вырасти. Но родились они на Пречистенке, в тех семьях, с которыми тесно был знаком Булгаков в течение всей своей 18-летней московской жизни.

Так обратимся к фактам, которые подчас будут разниться от воспоминаний Ермолинского. Говоря о московских друзьях и знакомых Михаила Афанасьевича Булгакова, невозможно обойти молчанием книгу Ермолинского. Ведь это о ней, как оказывается теперь, прозорливо сказал за несколько дней до кончины Михаил Афанасьевич своей сестре Елене Афанасьевне: "Боюсь всяких воспоминателей".

Случилось так, что Марика Артемьевна Чимишкиан, будучи знакомой по Тбилиси с Владимиром Владимировичем Маяковским и Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, проездом через Москву из Ленинграда в Тбилиси была приглашена Булгаковым хотя бы на неделю остановиться в столице и погостить в кругу близких друзей. На вокзале её встречали: подруга детства, известная киноактриса Ната (Наталия Георгиевна) Вачнадзе, Маяковский и Булгаков. Возник спор, к кому ехать гостить, к Нате Вачнадзе или к Булгаковым. Маяковский попросил Марику Артемьевну показать её билет в Тбилиси. Марика Артемьевна достала свой железнодорожный билет, а Владимир Владимирович, хладнокровно положив его в карман, сказал, что отдаст только тогда, когда все сочтут возможным отпустить Марику Артемьевну из Москвы, таким образом, шутливо предлагая пожить в Москве подольше. Михаил Афанасьевич, не говоря худого слова, взял в руки её вещи, и они направились в квартиру Булгаковых, в то время уже живших на Большой Пироговской (бывшей Большой Царицынской) улице, 35-а, где их ждала Любовь Евгеньевна.

Марика Артемьевна прожила в Москве месяц. Затем вернулась в Тбилиси. Через несколько месяцев она со своей подругой Кирой Георгиевной Андрониковой (впоследствии женой писателя Б. А. Пильняка) переехала в Москву, и они вместе поступили в студию Завадского, где проучились около года. Марика Артемьевна жила у Булгаковых в их квартире на Большой Пироговской улице. В этот-то период своей жизни Марика Артемьевна познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Александровичем Ермолинским (1900-1982 гг.). Очень быстро, буквально месяца через два-три после первого знакомства с ним, в ответ на его настоятельные предложения руки и сердца, она согласилась

стать его женой. Однажды, в конце августа 1929 года, провожая Марику Артемьевну на Большую Пироговскую, Ермолинский и познакомился с Булгаковыми. Оказалось, что Любовь Евгеньевна уже была с ним знакома по их случайной совместной поездке на пароходе летом того же года из Москвы в Астрахань. Знакомство на пароходе завязалось во время спонтанно возникшего разговора о Главреперткоме, который все дружно ругали. Но, как часто бывает, случайный общий разговор не повлёк за собой какого-то более устойчивого знакомства. Открывая Марике Артемьевне дверь, Любовь Евгеньевна тотчас же признала рядом с ней недавнего своего попутчика и пригласила войти. Так Ермолинский первый раз вошел в дом к Булгаковым.



Марика Артемьевна Чимишкиан.

Ермолинский был в то время заведующим литературной частью московской киностудии "Востоккино". Марика Артемьев-

на уже несколько лет снималась в кино в Тбилиси. Она пошла в студию Завадского, стремясь добиться профессионализма в своей актёрской игре. Снимаясь в кино, Марика Артемьевна узнала и близко сдружилась со многими деятелями тогда еще юного грузинского кинематографа.

Марика Артемьевна познакомила Булгакова с двумя своими подругами, сёстрами Кирой Андрониковой и Натой Вачнадзе, через которых открывались обширнейшие связи со всем театрально-литературно-художественным Тбилиси.

Глубокая дружба связывала Марику Артемьевну со многими известнейшими людьми литературно-артистического Тбилиси, а затем и Москвы: Владимиром Маяковским, Симоном Чиковани, Гоглой (Георгием) Леонидзе, Бессарионом Жгенти, Ираклием Андрониковым, Борисом Пильняком, Николаем Заболоцким, наконец, Михаилом Булгаковым!

Ермолинский прожил в этом браке 27 лет, затем оставил Марику Артемьевну и начал новую жизнь. В воспоминаниях же Ермолинского о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, с которым как раз ближе него была связана Марика Артемьевна, благодаря которой он познакомился с писателем и был принят в его доме, мы читаем только: у Булгакова "гостила милая девушка из Тбилиси (из-за неё я сперва и попал к Булгакову)".

Вот и всё. Ни имени, ни фамилии. Ни благодарности! Эдаким ловеласом попал, оказывается, Ермолинский в дом к Булгакову, а потом и запомнил, как звали ту милую девушку.

Вот тут-то начинают говорить и свидетельствовать вещи. Дело в том, что, несмотря на все утверждения Ермолинского по поводу его близкой дружбы с Михаилом Афанасьевичем, оказывается, он был достаточно редким гостем на Большой Пироговской. Он был там всего два-три раза, а в кабинете Михаила Афанасьевича, возможно, и вовсе ему не пришлось побывать. Помимо того, что осталось в памяти людей, населявших в те времена дом, свидетельствуют ещё и вещи: три ступеньки вверх, а не вниз, как утверждает Ермолинский, вели из столовой в кабинет Булгакова и, кроме Ермолинского, этого не забыл никто из действительно постоянных посетителей дома. Слишком уж этот дом был им дорог и слишком многое их с ним связывало.

Ермолинский же, очевидно, запомнил только те две ступеньки вниз, которые вели от входной двери в квартиру Булгаковых, а вовсе не в кабинет писателя.

Далее, в кабинете Михаила Афанасьевича стояли не просто некрашенные деревянные стеллажи с грудой книг и старых журналов, как об этом пишет мемуарист Ермолинский, создавая тем самым в воображении читателей впечатление заурядной, ничем не примечательной рабочей комнаты.

Во-первых, стеллажи были морёного дерева, но самым интересным, бросающимся в глаза в этом кабинете был находившийся прямо против двери большой письменный стол писателя со стоявшими на нём двумя канделябрами, в которых Михаил Афанасьевич любил зажигать свечи, плотно закрыв занавески на окнах (это бывало и днём), и часто работал при свечах. Близкие ему люди, действительно постоянные посетители его дома, для которых дом этот остался в памяти как драгоценное воспоминание, помнят в его кабинете мягкое кресло, в котором Михаил Афанасьевич любил сидеть в наушниках и слушать передававшуюся по радио музыку, при этом увлеченно дирижуя, если музыкальные куски были ему особенно по душе (очень любил "Аиду", увертюру к "Руслану и Людмиле", марш Черномора).

Каким же образом могли произойти столь неожиданные неточности в описании тех мест, где протекала, как утверждает Ермолинский, беззаветно-душевная дружба между ним и Михаилом Афанасьевичем?

Да объясняется это очень просто. Ермолинский знал о жизни Булгакова, главным образом, из рассказов сначала своей жены Марики Артемьевны, которая была всегда очень близка этому дому, а затем — Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя, с которой он очень сдружился после смерти Булгакова, гораздо позже, уже после войны, а ещё ближе — после своего развода с Марикой Артемьевной, через шестнадцать лет после кончины Булгакова.

Елена Сергеевна рассказывала Ермолинскому то, что сама знала со слов мужа о его жизни до неё, и, естественно, поверяла ему многочисленные подробности их собственной совместной

жизни. Но Елена Сергеевна знала о прежней жизни своего мужа только по его рассказам, а знать по рассказам о жизни другого, даже очень близкого человека, отнюдь не то же самое, что видеть её своими глазами. Возникали неточности. Они-то и проявились в пересказах третьего лица, Ермолинского, слушавшего рассказы и, в свою очередь, понимавшего и запоминавшего их по-своему.

В его воспоминаниях есть вещи, которых вовсе не было. И опять-таки, это говорят очевидцы и об этом неумолимо свидетельствуют подробности самих "воспоминаний" Ермолинского. Так, например, он очень живо и подробно повествует о "первом" чтении в 1930 году глав из романа "Консультант с копытцем", затем "Консультант с копытом" и впоследствии "Мастер и Маргарита", и при этом говорит, что чтение это происходило в очень тесном кругу у Павла Сергеевича и Анны Ильиничны Поповых. Кроме хозяев, были только он сам и читавший свою рукопись Михаил Афанасьевич. Причём чтение это было как бы "тайным". Но странно то, что, по многим свидетельствам, Ермолинский никогда не бывал в доме у Поповых. Это подтверждается и тем, что он, житель арбатско-кропоткинских переулков, знавший их, конечно, превосходно, вдруг запамätовал, где жили Поповы. Он ошибочно говорит, что Поповы жили где-то на Собачьей Площадке (частично несуществующий теперь район между Арбатом и Калининским проспектом). На самом деле Поповы всегда жили в Плотниковом переулке, сначала в доме 12, а затем в доме над магазином "Диета" на углу Плотникова переулка и Арбата. Как мог человек, так близко друживший с Булгаковым, забыть две подвальные комнатки Анны Ильиничны Толстой, в замужестве Поповой, которые в какой-то мере описаны в романе "Мастер и Маргарита" как место, где жил Мастер. До сих пор идут бесконечные споры о том, где жил Мастер и какое помещение описано в романе. Спора здесь не может быть, так как Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова ясно уже объяснила всё, и ей это, как никому другому, лучше знать. Она сама бывала в этих домах, тем более, что замысел романа и его частичное осуществление относятся к годам, когда она была женою Булгакова. Подвальчик Мастера — это собирательный

образ в романе. Булгакову вовсе не нужно было "фотографировать" то, что он описывал. Он был достаточно одарён воображением. Но сама идея подвальчика, возможно, возникла под впечатлением нескольких знакомых ему мест, в том числе и подвальчика Анны Ильиничны. В этом случае Ермолинский не запомнил адреса Поповых, а просто-напросто никогда точно не знал его и даже не потрудился, приличия ради, всё-таки его узнать. Что же касается второго их адреса, дома над магазином "Диета" на углу Плотникова переулка и Арбата, то этот дом, хоть раз побывав в нём (да ещё с Булгаковым!), ни один москвич, конечно, не в состоянии ни забыть, ни спутать с другим.

Далее, после своего, как оказывается, несуществовавшего визита к Поповым, Ермолинский рассказывает, что они с Булгаковым, возвращаясь от Поповых и пройдя часть пути к дому, не заметили за разговором, как "вынырнули" на Зубовской площади. Дело в том, что это слово "вынырнули" крайне не соответствует тому пути, который они должны были пройти. Если уж говорить о Москве, по которой ходил Булгаков, то от Поповых Булгаковы ходили так: налево по Плотникову переулку, затем прямо по Глазовскому переулку (ныне улица Луначарского) до Садового кольца и там, налево, до Зубовской площади, которая и является частью Садового кольца. Как можно вынырнуть, идя по широкой улице, на вовсе не расширяющуюся её же часть, названную площадью лишь потому, что в этом месте от Садового кольца отходят в одну сторону Кропоткинская, в другую Большая Пироговская улицы, создавая, таким образом, важный перекрёсток? Кстати, обе эти улицы во времена Булгакова тесно были зажаты по обе стороны домами и только в последнее время, может быть, лет десять, как Большая Пироговская с правой стороны, у Зубовской площади, очищена от большого количества строений, заполнявших свободное теперь пространство между этой улицей и улицей Бурденко. Таким образом говорить о какой-то площади стало возможным лишь по прошествии более 30 лет после кончины Булгакова. Ермолинский и здесь описал не реально, на его глазах происходившие вещи, а только то, что многие годы спустя нарисовало ему воображение.

Далее Ермолинский позволяет себе самым отрицательным образом отзываться о действительных друзьях и знакомых Бул-

гакова, которые окружали его в его московской жизни, о людях, называемых им "пречистенцами", среди которых он сам жил и, очевидно, не совсем был удовлетворён их отношением к себе. Ермолинский конкретизирует этот круг людей упоминанием о том, что все имели то или другое отношение к ГАХНу.

Мы уже много говорили о Лямине, Топленинове (впрочем, не имевшем отношения к ГАХНу), Шапошникове. Упоминание Ермолинского о великой любви "пречистенцев" поговорить о философе Шпенглере и его, как он выразился, "пресловутом" "Закате Европы", возможно, относится к Шапошникову, так как именно Борис Валентинович всегда хранил эту книгу, изданную в 1923 году в Москве и в Петрограде издательством Л. Д. Френкеля. Борис Валентинович ценил в ней как раз не то, что "главенство политики является типичным признаком вырождения общества", как утверждает Ермолинский, а понятие "протяженности", "la durée", которое вводит Шпенглер в трактуемый им философский смысл чисел. В те, начальные 20-ые годы, кто из мыслящих людей не был занят чем-то необыкновенным! Кто не любил пофилософствовать, да ещё занимаясь непосредственно философией искусства? Ермолинский же старается подчеркнуть, что направление этих философствований было предосудительным. Кстати сказать, в 1926 году в выпускавшейся ГАХНом серии "История и теория искусства" вышла книга Б. В. Шапошникова "Эстетика числа и циркуля" о неоклассицизме в современной живописи.

В этих разговорах, касавшихся широкого диапазона идей, конечно, участвовал и Михаил Афансьевич, так как между близко знакомыми людьми как же не обсудить всех тем и новостей, какие выпали на их долю, на время их жизни.

В Москве жили ещё десятки людей, с которыми дружил или состоял в близком или отдалённом знакомстве Булгаков. В большинстве своём это были интереснейшие и очень достойные люди, не соответствовавшие групповому их портрету, созданному Ермолинским. В течение примерно 30 лет Ермолинский сам вращался в этом кругу талантливых людей, обладавших, каждый сам по себе, глубокой индивидуальностью. Видимо, червь неудовлетворённого самолюбия и тщеславия глодал Ермолинского уже тогда, когда он ещё не знал, что из всех его

литературных, литературно-кинематографических (он писал пьесы и сценарии для художественных фильмов) творений не выйдет ничего хоть в какой-то мере выдающегося, талантливого.

Вспомним ещё некоторых людей, связанных непосредственно с кругом знакомых и друзей Булгакова, типичных обитателей и посетителей пречистенских домов.

Например, весёлый шутник и остроумный писатель Сергей Сергеевич Заяицкий (1893-1930 гг.). Коренной москвич, сын врача, он был очень близок Михаилу Афанасьевичу, так же как и другой писатель, Евгений Иванович Замятин, выехавший из России в 1932 году. С. С. Заяицкий жил с семьёй рядом с Пречистенкой в Долгом переулке (ныне улица Бурденко), 11, кв. 11, а затем переехал в Малый Знаменский переулок (ныне улица Маркса и Энгельса), 7, кв. 30.

Подробные адреса упоминаемых нами людей мы даём для того, чтобы наш читатель мог точно знать, где мог бывать и бывал в Москве Михаил Афанасьевич Булгаков.

Окончив в 1917 году историко-филологический факультет Московского университета, Заяицкий с 1921 года стал штатным членом театральной секции ГАХНа. Сергей Сергеевич — автор целого ряда пьес: "Жизнь приказывает" (1929), "Побеждённые камни" (1930), "Простая мудрость" (1930), "Стрелок Телль" (1925) "Таинственные письма" (1930).

В начале 20-ых годов вышло несколько книг его поэтических переводов.

Сергей Сергеевич Заяицкий был московским представителем Бюро Иностранной литературы ГАХНа.

Под псевдонимом Пьер Дюмель или под своим собственным именем он много писал для детей: стихи, рассказы, повести. Некоторые из его книг иллюстрировала Н. А. Ушакова. Он входил в артель писателей "Круг". Ему принадлежит несколько сборников рассказов, повестей, а самым крупным его произведением является "Жизнеописание Степана Александровича Лососинова. Трагикомическое сочинение" (1928).

Кстати говоря, этот его роман, так несправедливо забытый в наши дни, совершенно никакого отношения не имеет к инсинуациям Ермолинского, к по меньшей мере странным его утвер-

ждениям о том, что автор романа якобы высмеивал или шутливо критиковал "пречистенцев". Это чистейшая выдумка Ермолинского, основанная, очевидно, на том, что в наше время найдётся не так уж много людей, читавших или даже когда-либо видевших этот роман.

К тому же разряду выдумок относится и его упоминание о неоконченном романе известного в своё время и блестящего литератора Наталии Алексеевны Венкстерн (1890-1957 гг.) под названием "Гибель Пречистенки" (какое подходящее для Ермолинского название!). В этом случае Ермолинский создаёт некий миф, стараясь по возможности хоть чем-то подтвердить свои слова осуждения в адрес большого круга людей, когда-то, между прочим, связанных с ним узами близкого знакомства, если не дружбы, и для этого выбирает себе в помощь представителей из этой же среды, людей, которые бы очень осудили его за эту ложь.

Наталия Алексеевна Венкстерн была близкой приятельницей многих из тех, кого имеет в виду Ермолинский. Она к тому же дружила с Булгаковым и немало часов, вечеров было проведено этими замечательными людьми за общей беседой, литературными спорами, полными игры ума. Она дружила и с Ермолинским, который был просто значительно моложе неё и ходил в этой среде в "милых мальчиках", ухаживавших за дамами. Дамы любили с ним посмеяться, если выпадала такая оказия, вот и всё, может быть, ещё поговорить на разные "философские темы", как говорят, обычно, в шутку, когда разговор не затрагивает серьезных проблем, а только вьётся вокруг них бабочкой, готовый в любую секунду переметнуться на любую другую тему.

Роман Н. А. Венкстерн "Гибель Пречистенки" относится к событиям конца XIX-го века и, в основном, повествует о профессуре гимназий, помещавшихся на Пречистенке и в её переулках. Одна из них — Поливановская — некоторое время была в том же доме, где значительно позже, с 1921 года, находился ГАХН. От романа осталась очень небольшая его часть, порядка 30 страниц машинописного текста (Наталия Алексеевна тоже в своё время претерпела арест, обыск и конфискацию рукописей,

документов, имущества и т.д.). Эти страницы действительно хранятся в архиве, но совершенно не дают представления обо всём романе в целом. Поэтому Ермолинский, создав свою легенду, почти ничем не рисковал.

Ермолинский чуть ли не на каждой странице своего повествования при помощи всякого рода мелких бытовых житейских подробностей утверждает себя "самым близким другом" Михаила Афанасьевича (хотя и не устаёт вспоминать о своей "скромности"), он даже не стесняется выдавать себя за некоего душеприказчика писателя. В этой связи очень странной историей выглядит рассказ Ермолинского о подаренной ему Булгаковым фотографии с надписью: "Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Серёжа! Твой любящий искренне М. Булгаков. Москва. 29/X. 1935 г.", а, главное, публикация этой фотографии.

Дело в том, что Марика Артемьевна Ермолинская, бывшая тогда его женой, узнала о существовании такой фотографии только по выходе в свет книги Ермолинского в 1982 году. А ведь в 1935 году, которым датирована фотография, в семье Ермолинских были прекрасные отношения, что называется, совет да любовь. Марика Артемьевна, конечно, не могла не знать о существовании такой фотографии. Михаил Афанасьевич вовсе не называл Ермолинского в те времена "Серёжей", он называл его "Сергей Александрович", да и надписывая свои фотографии, например, своему ближайшему другу Лямину, он никогда в жизни не писал ему: "Коле" — это выглядело бы как-то безлико: мало ли "Серёж" и "Коль" на свете! Булгаков надписывал свои фотографии даже такому близкому другу и приятелю, как Лямин, полным его именем: "Николаю Николаевичу Лямину". Кроме того, удивление Марики Артемьевны по поводу существования этой фотографии было связано с ещё одной существенной конкретной и точной подробностью, имевшей место в их жизни: в ноябре 1940 года, когда производился обыск в доме Ермолинских и когда был арестован сам Ермолинский, в семье были конфискованы все его рукописи, многие документы и фотографии, всё конкретно, что было связано с именем Булгакова, например, сборник его рассказов "Диаволиада" с дарственной надписью писателя, фотографии разных лет с изображением

Булгакова. Спрашивается, где же была тогда эта, к тому же неизвестная Марике Артемьевне фотография, со столь дружеской надписью в те годы одиозного Булгакова?

Как говорится, свежо предание, а верится с трудом.

В качестве предположения можно выдвинуть следующее рассуждение: такая надпись, видимо, была адресована молодому человеку, даже ребёнку, которого естественно можно было называть по имени, употребляя уменьшительное "Серёжа" и завещать ему в далёком будущем его взрослой жизни память о себе, человеке гораздо более старшего поколения. А такой мальчик Серёжа как раз и был: это был младший сын Елены Сергеевны, Сергей Шиловский, которому тогда было лет 12 и который жил с матерью и Михаилом Афанасьевичем, тогда как старший её сын Евгений, Женя жил со своим отцом, Евгением Александровичем Шиловским. Именно Сергею Шиловскому Булгаков и подарил эту фотографию, которая сохранялась в семье.

В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале "Театр" в 1966 году, Ермолинский не мог ещё представить этого "нео-провержимого" доказательства своей тесной дружбы с Булгаковым, да и вообще в том варианте его записок дружба ещё не была изображена столь тесной. Фотографию тогда ещё нельзя было использовать, так как и мать и сын были живы — фотография имела хозяина. Как это ни неприятно говорить, она стала вакантной в 1976 году, когда после смерти своей матери в 1970 году умер и сам Серёжа, Сергей Евгеньевич Шиловский.

Ермолинский выдумывает мизансцены изображающие его короткие дружеские отношения с Булгаковым, например, как, Михаил Афанасьевич якобы приходил лечить его от простуды! Рассказывает это подробно, развлекая публику, тогда как на самом деле всего этого никогда не было.

В том же "дружеском порыве", в котором Ермолинский ведёт свой рассказ о Булгакове, он не устаёт унижать и оскорблять Любовь Евгеньевну Белозерскую-Булгакову, живого человека, живого свидетеля выдуманной Ермолинским жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Сам писатель никогда бы его не похвалил за это.

Нельзя придумать более возмутительного и недостойного

обращения с памятью о Булгакове, чем пытаться очернить эдаким "свидетельским" образом его жизнь с женщиной, рядом с которой он написал большую часть своих произведений, лучшие которых он посвятил именно ей ("Белая Гвардия", "Собачье сердце", "Мольер" и др.). Ермолинский обвиняет Любовь Евгеньевну в том, что она не удержала мужа, так как не поняла его. И это глубоко неверно. Ермолинский сам это прекрасно знал, но, однако, не смог совладать с наступившим с некоторых пор своим "всесилием" во всех вопросах, касавшихся Булгакова, и как человек, подвластный тщеславию, не сумел удержаться от сведения счётов.

Ермолинский берёт на себя грех и попросту обманывает своего читателя, делая вид, что цитирует слова осуждения, якобы сказанные ему Булгаковым и якобы относившиеся к его жизни с Любовью Евгеньевной. Ермолинский пишет, что в первый же свой визит к Булгакову (дело происходило в 1932 году, откуда на сей раз такая великолепная память?!), после водворения писателя на новой квартире в Нащёкинском переулке (ныне улица Фурманова, дом снесён) с его новой женой Еленой Сергеевной, он услышал от Булгакова следующие слова: "Ты заметил, что меня никто не перебивает, а напротив, каждый с интересом слушает?.. Не дай Бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь".

Слишком большую роль сыграла Любовь Евгеньевна в жизни и в становлении творчества Булгакова, в их золотое время между ними были слишком трепетные, близкие и полные глубокого, дружеского взаимопонимания отношения, чтобы Михаил Афанасьевич мог подумать как-то её осудить в своей новой семье, да ещё при этом самозванном свидетеле-друге. Это было бы лишено всякой этики, и Ермолинский не имел права награждать Михаила Афанасьевича таким отсутствием этических устоев: ведь Булгаков был как раз человеком в высшей степени чутким и сдержанным, что сам же Ермолинский много раз подчёркивает. Такой смысл "воспоминаний" Ермолинского был бы противен всей натуре Булгакова. Ермолинский вложил в

слова, приписываемые им Булгакову, яд ревности к Любове Евгеньевне, возникшей на почве его вульгарного желания как можно больше унижить женщину, которая очень хорошо могла разобраться во всей той лжи, которую позволил себе этот мемуарист.

Подобным же образом Ермолинский поступил в отношении своей первой жены Марики Артемьевны, предполагая, что чем больше и глубже он обидит и унижит в этих "воспоминаниях" её гордость, тем больше у неё опустятся руки, тем меньше ей захочется заниматься какими бы то ни было протестами или разоблачениями, тем более, что он прекрасно знал, что Марика Артемьевна никогда не отличалась особой сопротивляемостью злу.

Рассуждения о "пречистенцах" и о "келейном образе жизни" этих "бывших людей", об их пописывании небольших статей на философско-филологические темы выглядят просто позорно в устах Ермолинского, пытающегося очернить память об этих светлых и замечательных умах, стоявших на несравненно более высоком уровне, чем он.

Безусловно, в более или менее близком знакомстве с Булгаковым был такой "истинный пречистенец" как, например, Густав Густавович Шпет (1879-1940 гг.). Они были земляками. Так же как и Булгаков, он родился и окончил гимназию в Киеве, только значительно раньше. Он учился в Московском университете, окончил историко-философский и два курса физико-математического факультета. Стал магистром философии и многие годы был профессором Московского университета.

С 1924 года Г. Г. Шпет начал свою деятельность в ГАХНе, а с 1926 года был избран вице-президентом Академии. Это был большой учёный-философ. В концепции Шпета универсальное понимание означает отыскание "первых начал" и "принципов" бытия. Действительность не просто "дана" в опыте, она "загадана" и обнаружение её смысла достигается через раскрытие интуитивных актов человеческого разума.

По этому поводу сразу вспоминается начало романа Булгакова "Мастер и Маргарита":

"Да, следует отметить первую странность этого страшного

майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека...

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нём. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки....

— Прошу меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нём председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твёрдо возразил иностранец.

— Это почему?

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел на небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили чёрные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится”.

Все эти булгаковские гротескные ситуации, естественно, имеют за собою глубокий философский смысл, а огромный, мощный булгаковский талант писателя и мыслителя пускал корни в почву его повседневного общения с жизнью и с людьми.

Но продолжим наш разговор о Густаве Густавовиче Шпете. В сочинении ”Внутренняя форма слова”, написанном им в 1927 году, философия языка предстаёт как основа философии культуры. Г. Г. Шпет предвосхитил многие идеи позднейшей философии — ”герменевтики”, учения об истолковании.

Густав Густавович жил в Москве на Долгоруковской (ныне Каляевской) улице, 17, кв. 2. У него была большая семья. На его иждивении состояло семь человек: мать, жена, четыре дочери и сын. Жить было достаточно трудно. Но, углублённый в науку учёный, он оставался человеком вполне светским, общительным,



Густав Густавович Шнет

любезным, блестящим собеседником. Ближайшие друзья и ученики считали его истинно гениальной натурой.

Среди его знакомых было немало выдающихся ученых, писателей. Назовём из них только два имени: Пастернак и Булгаков. С Булгаковым у него не было близкой дружбы, но круг их общих знакомых и сфера жизни время от времени предоставляли им возможность видаться и общаться друг с

другом. Густав Густавович посещал булгаковские чтения у Ляминах.

В конце 1929 года и в этой семье случилось несчастье:

“Выписка из протокола N. 386 заседания Президиума ГАХН от 19 октября 1929 г.

Постановили: освободить Г. Г. Шпета от занимаемой должности”.

На каком основании, хотим мы спросить?

Это решение было принято на основании работы и постановления Комиссии по чистке аппарата ГАХН, а именно, по персональной чистке сотрудников Академии:

“Являясь ярким представителем архиреакционных, объективно-идеалистических воззрений, относясь враждебно к диалектическому материализму, Шпет, учтя слабость руководства в Академии, проходит в состав Президиума, вначале как руководитель финансовой части, а в дальнейшем — вице-президентом.

Являясь представителем философского отделения Академии, которое в первые годы существования таковой было её ведущей частью, он концентрирует вокруг себя не только идеалистов и формалистов, но и реакционеров, а в отдельных случаях и контрреволюционеров типа Лосева, Шапошникова, Никольского, Морица, хотя отдельные представители, как-то: Шапошников, Мориц, Никольский достаточной необходимой научной квалификации не имели.

Так как для надлежащего “идеологического” руководства необходимы деньги, а также и соответствующие его идеологическим взглядам “научные” сотрудники, Шпет подчиняет себе финансы, проводит своего ученика, секретаря философского отделения, контрреволюционера Шапошникова административным членом Академии, а в дальнейшем включает в состав Президиума контрреволюционера Морица, дабы надлежащим образом проводить свои реакционные идеи. Он возглавляет издательскую часть Академии, а затем устраивает туда в качестве учёного секретаря Шапошникова.

При распределении финансов, главным образом, как это видно из документов, снабжал средствами философское отделение, возглавляемое его учеником Габричевским и состоящее из

его учеников Губера, Зубова, Лямина, Волкова и др., а также секцию пространственных искусств, где были концентрированы также его единомышленники в лице Недовича, Анисимова и др., за счёт снижения средств на научные расходы лучшей части Академии — социологического разряда, Комитета по изучению искусства национальностей СССР и Комитета художественной агитации и пропаганды.

Создал "куст" бывших людей, в отдельных случаях не являвшихся специалистами, научными работниками, державшихся за Академию благодаря круговой поруке и родственным связям.

Полностью осуществил намеченную цель — создание в ГАХН крепкой цитадели идеализма.

ПОСТАНОВИЛИ:

Запретить работать на должностях, связанных с идеологическим руководством. Считать возможным использование знаний Шпета в области иностранных языков по работе в качестве преподавателя или переводчика при надлежащем обеспеченном идеологическом руководстве".

Как при этом не вспомнить:

"Филипп Филиппович оседлал нос пенснэ поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду: — ... а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде спалить в печке, как явный меньшевик..." (Булгаков, "Собачье сердце").

Итак, Г. Г. Шпету, блестящему учёному, который все годы своей профессиональной деятельности занимался глубокими и интереснейшими научными изысканиями, этому талантливому теоретику предлагалось бросить свою профессию и заняться совсем другим!

После таких событий невольно поведёшь "келейный", по выражению Ермолинского, образ жизни.

Нужно было содержать семью и заниматься каким-то делом. В 30-ые годы Густав Густавович переводил и комментировал произведения мировой, главным образом, английской литера-

туры: Байрона, Диккенса, Теккерея и др. Ему принадлежит перевод "Феноменологии духа" Гегеля.

Густав Густавович умер от воспаления лёгких, вдали от своей семьи, далеко в Сибири, в Томской области. Это произошло почти одновременно с кончиной Булгакова: 26 марта 1940 года. После него осталось много детей и внуков. Его родная внучка — блестящая советская балерина Екатерина Максимова.

Ещё один так называемый "пречистенец" — Александр Георгиевич Габричевский (1891-1968 гг.). Родился в семье известного русского деятеля науки, микробиолога, эпидемиолога, профессора Московского университета Георгия Норбертовича Габричевского (1860-1907), основателя первого Российского бактериологического общества, создателя школы бактериологов, основателя русской микробиологии.

Александр Георгиевич Габричевский получил превосходное образование. В наши дни сведения о его детско-юношеских занятиях звучат, словно этот человек жил на другой планете: получил домашнее образование (!), ежегодно сдавая экстерном экзамены в Московской 7-ой классической гимназии, где и получил в 1908 году аттестат зрелости. Одновременно занимался практически всеми искусствами (!) и изучал античную литературу под личным руководством академика Ф. Е. Корша (1843-1915 гг.). В 1915 году окончил историческое отделение историко-филологического факультета Московского университета. Летом 1914 года прослушал летний семестр в Мюнхенском университете, где занимался историей и теорией искусств. С самого основания ГАХНа — был его членом. Владел французским, немецким, английским, итальянским, латинским и греческим языками. С 1918 года занимался педагогической практикой в Московском университете, Художественно-техническом институте, Высшем архитектурно-строительном Институте, аспирантуре Академии архитектуры СССР. Автор многих работ по истории и теории архитектуры, живописи, музыки и литературы. Возглавил издание многих классических трудов по истории и теории архитектуры. Ему также принадлежат переводы писателей итальянского Возрождения, в том числе философского сочинения Данте "Пир".



Александр Георгиевич Габричевский

Александр Георгиевич Габричевский был достаточно близко знаком с Михаилом Афанасьевичем, бывал на булгаковских чтениях у Ляминых, дружил с целым рядом людей, входивших в уже известный нам круг: Шпеты, Лямины, Шапошниковы, Морицы и др. Булгаковы и Габричевские одновременно жили в Крыму, в Коктебеле у Волошина, что, обычно, очень сближает.

А. Г. Габричевский жил в университетской квартире своего тестя, биолога, академика А. Н. Северцова (1866-1936 гг.): Моховая (ныне Проспект Маркса), 11, кв. 69. В настоящее время это помещение занято университетом.

Во время войны Александр Георгиевич, как человек "инострального происхождения", был выслан из Москвы в Свердловск.

Он жил там вместе с известнейшим музыкантом, пианистом и профессором Консерватории Генрихом Густавовичем Нейгаузом (1888-1964 гг.), с которым они очень любили играть на рояле в четыре руки; художницей Алисой Ивановной Порет (1902-1984 гг.), ученицей П. Н. Филонова (1888-1941 гг.) и другими. Кстати, Генрих Густавович Нейгауз какое-то время тоже был членом ГАХНа.

А у Ермолинского мы читаем:

”Поясняю: на бывшей Пречистенке (уже давно переименованной в улицу Кропоткина), в её кривых и тесных переулках, застроенных уютными особнячками, жила особая прослойка тогдашней московской интеллигенции. Территориальный признак здесь случаен (необязательно ”пречистенцу” жить на Пречистенке)...

Советские ”пречистенцы” жили келейной жизнью.

Их выход на более открытую общественную арену коротко прозвучал в период существования ГАХН.

Они писали литературоведческие комментарии, выступали с небольшими, сугубо академическими статьями и публикациями в журналах и бюллетенях.

Жили они в тесном кругу, общаясь друг с другом...

У пречистенцев чтились филологи и философы...

В этом кругу к Булгакову относились с повышенной заинтересованностью. В нём хотели видеть своего представителя. Хотели видеть его на Голгофе, падающим под ударами — чуть ли не мучеником. Булгаков служил как бы оправданием их общественного небытия, их исторической обречённости”.

Как беспринципно всё то, что говорит здесь Ермолинский! Он явно злорадствует по поводу репрессий, обрушившихся на головы большинства из них. К тому же, он пытается оправдать эти репрессии, говоря об ”исторической обречённости” и ”общественном небытии” этого круга людей. А ведь даже в том тягчайшем положении, в котором вынуждены были существовать эти в высшей степени блестящие люди, их действительная жизнь, полная деятельности в широких сферах университетского преподавания, литературоведения, музейной работы или искусствоведения никак не подтверждает нелестных эпитетов Ермолинского.

Скорее, сам Булгаков видел этих людей на Голгофе. У него на глазах то один из них, то другой, пропадали, исчезали. Кто-то навсегда уезжал (Замятин), кто-то безвременно умирал (Заяицкий), кто-то вынужден был пройти огни, воды и медные трубы "сталинского лихолетия" и, если оставался жив, вовсе не ломался духом. Всё это окружало Булгакова, сжималось вокруг него кольцом, не давая спокойно жить и работать.

Ермолинский ещё и путается в своих утверждениях: сначала говорит: "Он (Булгаков) очень скоро почувствовал, что эта среда тягачет его, как гири", — а потом вынужден констатировать факт, который при всей двуличности натуры Ермолинского невозможно исказить: "Тем драматичнее было (философствует Ермолинский), что в период наибольшего душевного смятения именно "Пречистенка" оказалась его единственным прибежищем. Но он был, говоря словами Горького, "горение, а не гниение".

Здесь Ермолинский уже совсем заговаривается. По чьему адресу употребляет он это слово "гниение"? Может быть, по своему собственному?

Дело в том, что и сам Ермолинский, благодаря своей жене Марике Артемьевне, оказался вхож и относился, в своё время вовсе не отрекшись от этого, к тому кругу лиц, о которых теперь он так нелестно отзывается. Даже родственно он непосредственно примыкал к среде этих людей. Он был по линии своей матери внучатым племянником Дмитрия Васильевича Ульянинского (1857-1918 гг.), известного библиофила, обладателя колоссальной, ценнейшей библиотеки, жившего на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре. В 1918 году, узнав, что ему придётся переселяться или "уплотняться" в квартире, где размещалась его библиотека, он, не выдержав крушения устоев всей своей прежней жизни, в отчаянии покончил с собой, бросившись под поезд.

Вот и здесь вспоминаешь булгаковское "Собачье сердце":

"— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве...

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в неё так:

— ... Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России...

Извините, у меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать”.

Родной дядя Ермолинского, Николай Юрьевич Ульянинский (1872-1937 гг.), в квартире которого долгие годы жил и сам Ермолинский (Староконюшенный переулок, 2), окончил историческое отделение историко-филологического факультета Московского университета, был членом многих библиографических и библиофильских обществ, был действительным членом полиграфической секции ГАХНа. Был как раз типичным ”пречисленцем”, пользуясь выражением Ермолинского.

Так же как Булгаков никогда в жизни не смог бы стать ни Фединым, ни Фадеевым; как Пастернак никогда не стал бы, например, Георгием Марковым, так и все философы, филологи, искусствоведы и литературоведы, все в высшей степени образованные люди, воспитанные в лучших традициях русской и европейской культуры, не могли совладать с обрушившейся на них жизнью, в большинстве случаев зависевшей от людей, стоявших по сравнению с ними на страшно низком уровне развития.

”— Вы стоите на самой низкой ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы ещё только формируетесь,

слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, а в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить... Зарубите себе на носу... что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества."

Вот в этих словах "приемлемым членом социалистического общества" и заключается вся глубина взаимоотношений этих людей с советской властью.

Если мы вспомним, что Густав Густавович Шпет в 1899 и 1904 годах был арестован и высылался из университетского городка за революционную пропаганду, мы ясно поймём, что не только любовь к родной земле (которая, кстати, была очень сильна в этих людях) заставила их остаться в России при новом режиме; они с открытой душой приняли этот режим и поверили его представителям, так же как это сделал Филипп Филиппович Преображенский, персонаж Булгакова в повести "Собачье сердце".

Ермолинский опять-таки путается в своём стремлении противопоставить Булгакова его пречистенским друзьям. С одной стороны, он пишет, что Булгаков якобы сам порвал с ними и даже якобы "в дальнейшем ему не раз приходилось раздражаться на них". Но чуть дальше, через две-три страницы он, забываясь, говорит о Елене Сергеевне: "Со всей искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих его друзей, которые сохранились от его "прежней жизни". Большинство "prechистенцев" не признавали её или принимали со сдержанностью, почти нескрываемой".

А далее мы читаем: "Дом их, словно назло всем вражеским стихиям, сиял счастьем и довольством!" Не слишком ли много своего собственного злорадства и суетности своей собственной души старается вложить Ермолинский в душу Булгакова, которой это вовсе не было свойственно!

Говоря о Пречистенке и её обитателях, имевших какое-то отношение к жизни Булгакова, нельзя умолчать ещё об одном московском доме, находившемся в Троицком (ныне Померанцевом) переулке, 8. В настоящее время дом снесён. Принадлежал

он семье Шервинских, и в нём жило сразу несколько знакомых Булгакову семейств. Среди них: Морицы, Леонтьевы, Арендты, Долгорукий, наконец, сам Сергей Васильевич Шервинский, ныне здравствующий член Союза писателей СССР, переводчик античной литературы, поэт.

Михаил Афанасьевич недолюбливал Владимира Эмильевича Морица (1890-1972 гг.). Он шутивно, но хлётко высмеял его в "Собачем сердце", в сцене, когда к знаменитому врачу Филиппу Филипповичу Преображенскому приходит пациентка, дама, желающая омолодиться в гинекологическом смысле:

"— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстёгивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу... Богом клянусь, — говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на её щеках, — я знаю, это моя последняя страсть! Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он — карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной грязной модистки. Ведь он так дьявольски молод."

Эти шуточные строки связаны с тем, что очаровательная Александра Сергеевна Лямина, первая супруга Н. Н. Лямина, в своё время совершенно потеряла голову от любви к В. Э. Морицу, оставила мужа и ушла к Морицу. Владимир Эмильевич, живший с женою и дочерью на Остоженке, 7, расторг своё первое супружество, а Н. Н. Лямин в 1922 году женился на Н. А. Ушаковой.

Михаил Афанасьевич приехал в Москву уже после всех этих волнующих событий, но разговоры не утихали, Мориц прослыл соблазнителем-сердцеедом.

Но это всё шутки, серьёзно же то, что Владимир Эмильевич Мориц был тоже членом ГАХНа, мы помним упоминание о нём в обвинительном документе, касавшемся Г. Г. Шпета. Специальностью Владимира Эмильевича после окончания Московского университета была история и теория театра и литературы. По этой линии он и вёл свою работу в ГАХНе, выступал с докладами: "К проблеме психологии творчества актёра", "Современный французский театр", "Готье — Гумилёв", "Театроведение Италии и Франции", "Смены стиля" и т.д.



Владимир Эмильевич Мориц

В начале 1930 года администрация ГАХНа вынуждена была обратиться в 45-ое московское отделение милиции со следующей поразительной просьбой:

”Сотрудник Государственной Академии Художественных Наук Владимир Эмильевич Мориц, проживающий по Троицкому переулку, 8, кв. 2, вышел вчера в 10 часов 30 минут из дома, направляясь в Академию, помещающуюся по ул. Кропоткина, 32. В Академию он не явился и, по имеющимся в Академии сведениям, дома с тех пор не был.

Государственная Академия художественных наук просит 45

отделение милиции принять соответствующие меры к розыску указанного лица”.

Дом, в котором жил В. Э. Мориц, находился почти напротив ГАХНа, не более 100 метров нужно было пройти от двери до двери. Поэтому исчезновение В. Э. Морица казалось совершенно немыслимым. На самом деле он был арестован прямо на улице, и об этом даже не было сообщено ни его близким, ни администрации его места работы. В. Э. Мориц, так же как и прочие знакомые и незнакомые ему тысячи, а потом и миллионы людей, прошел свой круг несчастий. По возвращении в Москву из ссылки в Котлас, он долгие годы преподавал мастерство актёра в Театральном училище им. Щепкина.

Подобные случаи внезапных и странных исчезновений людей Булгаков описывает в романе “Мастер и Маргарита”:

”И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чём-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае, если ему будут звонить, что он вернётся через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся...

Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая всё это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!”

Михаил Афанасьевич встречался с Морицами во многих знакомых ему семьях, в том числе у соседей Морицев — в очень известной в Москве семье Леонтьевых. Яков Леонтьевич Леонтьев был заместителем директора Большого театра оперы и балета. Это был блестящий администратор, великолепно знавший труппу, человек отзывчивый, справедливый и умный. Вся труппа его очень любила. Особенно ярко проявился администраторский дар и прекрасные человеческие качества Якова Леонтье-

вича в годы войны, когда театр выехал в эвакуацию и с этим были сопряжены всяческие трудности жизни актёров. Его дом был гостеприимно открыт буквально для всей театрально-литературной и художественной Москвы.

Жену Якова Леонтьевича звали Дарьей Григорьевной, а её сестра, Евгения Григорьевна, была замужем за Андреем Андреевичем Арендтом, известным московским нейрохирургом, работавшим в Институте нейрохирургии им. Бурденко. Обе семьи жили вместе, одним хозяйством. Так как вся Москва знала Якова Леонтьевича Леонтьева, то дом их так все и называли "Леонтьевым". Андрей Андреевич Арендт сам по себе был очень примечательной личностью. По прямой линии он происходил от петербургского врача Арендта, который лечил А. С. Пушкина после дуэли. Андрей Андреевич даже сделал ценный подарок московскому Музею А. С. Пушкина на Кропоткинской улице, 12: он отдал в музей чемоданчик с медицинскими инструментами своего прадеда, пользовавшего А. А. Пушкина.

Владимир Николаевич Долгорукий (1894-1967 гг.) тоже жил в доме Шервинских. Он переехал сюда из Малого Лёвшинского переулка, а до этого жил в Молочном переулке за Остоженкой. Вероятно, ему не везло с жильём или для столь частых переездов у него были свои соображения. Он был писателем. Писал под литературным псевдонимом Владимиров, так как нельзя было дразнить советскую публику известной по всей России княжеской фамилией Долгоруких. Люди отказывались от своего рода и племени, от имён своих предков. Мы видели Владимира Николаевича на фотографии рядом с Булгаковым на углу Пречистенки и Малого Лёвшинского переулка. Его перу принадлежат большие книги из серии "Жизнь замечательных людей": "Джеймс Кук" (1933), "Франклин" (1934). Он писал исторические романы, повести, рассказы для подростков, например, роман "Последний консул" (1957), стихи и беседы о музыке для детей. Ему принадлежат одноактные водевили и даже опера в одном действии "Старший брат" (1926). Он перевёл на русский язык роман Бальзака "Блеск и нищета парижских куртизанок". Был ли он преуспевающим писателем? Странно то, что в картотеке Союза писателей СССР, в котором он состоял членом, отсутствуют даты



Владимир Николаевич Долгорукий

его жизни. Ни даты рождения, ни даты смерти! Только одно упоминание, что в 1964 году отмечалось его 70-летие.

Это была трагическая личность, несмотря на то, что он писал весёлые стишки для детей и для развлечения своих друзей. В какой-то момент его жизни, возможно, в 30-ые годы, он побоялся отказаться от предложенного ему сотрудничества с ГБ, и все знали, что он вынужден был куда-то ходить, что-то где-то рассказывать и отвечать на вопросы. Постепенно он стал нелюдим и, если виделся с кем-либо из своих старых друзей, старался быть только наедине с тем или другим из них, если же появлялось третье лицо или большее количество людей, он

немедленно под любым предлогом уходил. Все считали его глубоко несчастным и снисходительно относились к этому, по сути дела, милому, милейшему, любезному и доброму человеку.

Он жил, как зачарованное взглядом удава существо, которому пока позволено было ходить, есть и спать. Он постоянно чувствовал на себе неотступно устремлённые на себя страшные глаза, смотревшие отовсюду.



Андрей Александрович Губер

Ещё одна, совсем другого рода и, надо сказать, великолепная личность, с которой был непосредственно знаком Михаил Афанасьевич Булгаков — это Андрей Александрович Губер, тоже

ГАХНовец, окончивший в 1922 году философское отделение Московского университета, потомственный интеллигент, так как отец его был учёным-агрономом, а дед — естественником. Занимался проблемой смысловой структуры художественного произведения (работы в ГАХНе: "Философия поэта", "Структура поэтического символа", "Понятие о структуре художественного образа" и т.д.).

Фотография А. А. Губера относится к 1928 году.

Впоследствии долгие годы А. А. Губер был главным хранителем Московского музея изобразительных искусств. Он — автор и составитель многих ценных изданий по искусству (в том числе, например, альбомного издания "Галереи Уффици" из серии "Музеи мира" московского издательства "Искусство").

Андрей Александрович посещал булгаковские чтения у Ляминых.

Перечень замечательных людей, окружавших Булгакова в те годы, можно продолжать ещё долго. Это и известный литературовед Леонид Петрович Гроссман, и переводчик и комментатор античных авторов Фёдор Александрович Петровский, и художник и философ Николай Николаевич Волков, и философ и литературовед Павел Сергеевич Попов, и многие другие, не говоря уже о большом количестве московских актёров и режиссёров разных театров, в первую очередь, конечно, МХАТа и театра им. Вахтангова, которые и любили, и уважали Булгакова, и бывали у него в доме.

Живя на Большой Пироговской улице Михаил Афанасьевич любил иногда прогуливаться на Воробьёвы горы (с 1935 года — Ленинские горы). Ему нужно было выйти из дома, пройти мимо или через находившийся рядом Ново-Девичий монастырь, выйти к построенному в начале века для окружной железнодорожной линии мосту через Москву-реку, и вот он оказывался на Воробьёвых горах в прекрасном естественном парке, идущем вдоль реки. Оттуда открывался вид на город, там были свои пруды, уютные лесистые уединённые места, лужайки, зелёные склоны и уводящие всё дальше тропинки.

В романе "Мастер и Маргарита" целая глава названа "На Воробьёвых горах":

”Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три тёмные силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на чёрных конях в сёдлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращённых на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря”.

А вот в Ново-Девичьем монастыре, в одном из бывших, кажется, пристенных служебных помещений с появившимися после революции как приют для разного рода жителей многочисленными деревянными, заплатанными и перезаплатанными пристройками, надстройками и лестницами, которые совершенно изменили вид красавца-монастыря и сделали его похожим на инвалида, несчастное существо, потерявшее занятие, смысл жизни, повсюду пораженное гангрёнозными гниениями помоек, выбитых стёкол, заткнутого грязным и рваным тряпьем или забитых кусками фанеры, в маленькой и полутёмной комнатке жил Шереметев, представитель одного из знатнейших русских боярских родов. Вспомним великолепные дворцы Шереметевых в Москве, например, Останкино, Кусково. По старинной привычке православных людей, истари спасавшихся от полчищ татар в церквях и монастырях, он как бы спрятался за монастырские стены. А вокруг размещалось общежитие бывших монахинь, только теперь из монахинь они превратились в обыкновенных членов жилтоварищества. Постепенно монахини в кельях завели себе мужей, любовников и детей. Для нового населения монастыря нужно было обзаводиться новыми учреждениями бытового характера. Так в московских монастырях, от Ново-Спасского до Ново-Девичьего, появились вытрезвители и отделения милиции. В подвалах и усыпальницах развелись склады овощей или чего-нибудь ещё. Запахло гнильём и смрадом.

Пахло смрадом и от Шереметева. Как его звали? У него уже не было имени. Когда-то его прапрадед основал в Москве Странноприимный дом (богадельню), в котором теперь помещается больница скорой помощи им. Склифасовского. У него было славное имя — Николай Петрович Шереметев (1751-1809 гг.). Его сын Дмитрий Николаевич Шереметев (1803-1871 гг.)

был меценатом и благотворителем. Отец и дядя современного Булгакову Шереметева — Сергей (1844-1918 гг.) и Александр (1859-1919 гг.) Дмитриевичи окончили своё существование как раз вовремя, чтобы числиться ещё представителями рода Шереметевых в последнем издании Большой Советской энциклопедии. Далее имён нет, Шереметевых больше не существует.

Булгаков много раз мог видеть на Большой Пироговской да и на Пречистенке странную фигуру Шереметева, этого экстрагантного московского жителя. В пречистенско-остоженских переулках жили его родственники Голицыны.

Кроме Воробьёвых гор, у Михаила Афанасьевича была ещё и другая прогулка. На Большой Пироговской улице, если идти от Пречистенки к дому, где он жил, в сторону Ново-Девичьего монастыря, по правую руку находится большой сквер, который москвичи называют Девичье поле, или попросту Девичка. Когда-то, прогуливаясь по красивым аллеям и дорожкам сквера, можно было вдруг, довольно неожиданно для себя встретить как бы прогуливавшегося, как и вы, человека, старца с разметавшимися волосами и длинной бородой, просто и скромно заложившего за пояс свои каменные руки, так как и сам он был из камня. Любой прохожий сразу же узнавал в нём Льва Николаевича Толстого (скульптор С. Д. Меркуров, 1911 г.). Ощущение от этой встречи, даже у человека, заранее знавшего об этом эффекте, всегда было особенным. Этот район Москвы назывался Хамовники, это были толстовские места в Москве. Здесь рядом он жил, здесь же он ходил неподалёку в гости в Земледельческий переулок, 7, к Илье Ефимовичу Репину.

Теперь эта скульптура стоит почему-то во дворе музея Толстого на Кропоткинской, 11, на постаменте, среди клумб и ровных рядов кустов и впечатления от встречи с Толстым здесь не происходит. А сквер Девички обезобразила огромная глыба серого гранита, безликая и почти безымянная, хотя имя Толстого на ней написано. Силуэт головы старца с бородой, устало сидящего в кресле, только слегка напоминает писателя Л. Н. Толстого. Не хочется и знать, кто сделал этот памятник, не нравящийся москвичам.

У Михаила Афанасьевича Булгакова, конечно, не раз случа-



лись эти встречи с московским жителем Л. Н. Толстым, бродившим когда-то по аллеям Девички так естественно, что каменной неподвижности его никто не замечал. Булгаков гулял по скверу, сидел на его скамейках. Что он там придумывал, о чём размышлял?

Михаил Афанасьевич был коротко знаком, связан дружескими узами с родной внучкой Л. Н. Толстого Анной Ильиничной Толстой и с её мужем Павлом Сергеевичем Поповым (1892-1964 гг.).

В самом начале московской жизни Булгакова его чтения

происходили именно в подвальчике Анны Ильиничны, но уже с 1924 года постоянно устраивалась у Ляминах.

Павел Сергеевич был философ по образованию, в 1915 году окончил философское отделение Московского университета. До брака с Анной Ильиничной жил на Новинском бульваре (ныне улица Чайковского, часть Садового кольца от Калининского проспекта до площади Восстания, бывшей Кудринской), д. 117, кв. 4. С 1922 года Павел Сергеевич стал сотрудником ГАХНа, его действительным членом и заведующим комиссией по художественной терминологии при философском отделении ГАХНа. Впоследствии Павел Сергеевич много работал над редактированием и комментированием текстов Л. Н. Толстого, например, непосредственно участвовал в издании 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Как и многие другие члены особенно близкого Булгакову круга людей Павел Сергеевич имел своё прозвище — его называли Пятя Попов.

Итак, мы перечислили многих людей из близкого или менее близкого окружения Булгакова, и ни один из этих людей никак не соответствовал оценке Ермолинского, который не стесняется закончить эту часть своих так называемых "воспоминаний" просту ложными свидетельствами:

"И он высвободился из этой среды, как ни трудно было, особенно теперь, когда положение литературного страдальца так им импонировало. Он порывал с ней, сохранив добрые отношения с некоторыми из "пречистенских" друзей, но, по сути, это уже было ни к чему не обязывающее знакомство".

Почему Ермолинский позволил себе такую беспринципную, лишенную всяких оснований ложь?

Дело в том, что такой вопрос могли задать себе (и задавали) только те люди, которые в его воспоминаниях *смогли* увидеть всю их лживость, так как являлись живыми свидетелями событий и ситуаций, описанных этим "мемуаристом".

Люди же, далёкие от этого круга друзей и знакомых Булгакова, от тех времён и тех забот, находят в воспоминаниях Ермолинского, прежде всего, прекрасный язык интеллигентного человека, литератора, интересные рассуждения литературоведческого

плана. У них нет оснований ему не верить, так как, во-первых, они просто не знают другой стороны медали, а во-вторых, Ермолинскому удалось написать всё очень правдоподобно. Можно, пожалуй, сказать так: его воспоминания — это самая удачная из его литературных выдумок, которые он создавал всю свою жизнь для театральной сцены или для кинематографа, до сих пор не представлявших особого интереса.

Но в этой литературной выдумке во множестве подробностей и деталей Ермолинский грубо обманывает читателя. И человек, могущий разобраться в этих подробностях, остаётся буквально потрясённым абсолютным бесстыдством этого автора.

Ермолинский обманывает на каждом шагу: например, в том, что, он якобы, умудрялся кое-что записывать прямо во время своих разговоров с Булгаковым. Видимо, Елена Сергеевна Булгакова недорассказала ему кое-чего. Дело в том, что Михаил Афанасьевич, видя вокруг себя ужасающую обстановку бесконечных репрессий 30-ых годов, теряя друзей, стал очень подозрительным, болезненно подозрительным. Он знал об осведомителях и соглядатаях, так называемых добровольных или вынужденных "стукачах", которыми кишмя кишело в те времена повсюду. И у него самого не раз были случаи столкновения с подозрительными людьми. Он никогда не разрешил бы в своём присутствии что-то записывать из своих разговоров и просто не стал бы допускать такого человека к себе в дом. Это тогда было общеизвестно среди его знакомых, только Ермолинский почему-то этого не знал или сделал вид, что уж его-то, ближайшего Булгакову друга, эта сторона дела не касалась. Всё это является таким же вымыслом, как и то, что Ермолинский, опять-таки грубо обманывая своего читателя, утверждает (и с какими подробностями!), что он якобы один с Еленой Сергеевной проводил у постели больного Михаила Афанасьевича последние дни жизни писателя. Мы уже говорили об этом: у постели умиравшего Булгакова постоянно, до самого конца, оставались три женщины, которым Михаил Афанасьевич только и разрешил быть при себе: его жена Елена Сергеевна, его сестра Елена Афанасьевна и его старинная приятельница — Марика Артемьевна Ермолинская.

В ноябре 1940 года сам Ермолинский был арестован и выслан из Москвы. Марика Артемьевна сумела облегчить ему эту ссылку до предела возможностей. Ей удалось вызволить его из глухого местечка, станции Чиили в Средней Азии, где он находился в ссылке, сначала в Алма-Ату через своих знакомых московских кинематографистов, выехавших туда к этому времени в эвакуацию, а затем Ермолинский получил возможность переехать в Тбилиси, тоже благодаря обширным связям Марики Артемьевны в её родном городе. Но впоследствии Ермолинский постоянно обвинял Марику Артемьевну в том, что он попал в положение репрессированного и сосланного только из-за круга знакомых Марики Артемьевны, в том числе и из-за связи с Булгаковым. В конце 1946 года Ермолинский смог даже съездить в Москву и прочесть свою пьесу "Грибоедов" в надежде пристроить её в столице. Тогда из постановки этой пьесы ничего не вышло. Зато недели две своего пребывания в Москве он прожил у Елены Сергеевны Булгаковой (Марика Артемьевна тогда жила, так же как и он, в Тбилиси) и успел познакомиться со своей будущей второй женой, Татьяной Александровной Луговской. В 1947 году Ермолинские вернулись в Москву, и только в 1956 году Ермолинский, наконец, решил полностью изменить свою жизнь.

Благодаря своему второму браку, Ермолинский попал совсем в другой круг людей. Т. А. Луговская, сестра известного советского поэта Владимира Луговского, была вхожа в сферы официоза советской литературы. Ермолинскому это как раз очень импонировало.

Но как ни странно, его творческие, литературные дела, получив отпынне зелёную улицу, не очень успешно продвигались. Его пьесы шли, но сходили со сцены, не оставляя у зрителя особо трепетных воспоминаний. По его сценариям снимались фильмы (и сколько их было снято!), но опять же ничего серьёзного, значительного и на этом поприще не получилось.

А Ермолинский был человек тщеславный, ему нужно было кричать о своей исключительности, он хотел преуспеть во что бы то ни стало! Однако, его собственные таланты не дали ему этой возможности. Новые его связи тоже не оказались всесиль-

ными: они не снабдили его талантом. Поэтому, когда начался ажиотаж вокруг имени Булгакова, он стал "самым близким другом" Булгакова, истолкователем его воли, интерпретатором его забот и настроений, толкователем его жизни и творчества.

В предисловии к книге Ермолинского, в которой помещены его пьесы и воспоминания о Булгакове, Наталия Крымова, советский театровед, никогда не знавшая лично Булгакова просто потому, что принадлежит к другому, гораздо более позднему поколению, свидетельствует об этой поразительной дружбе, которая как бы сформировала Ермолинского и наполнила его жизнь содержанием.

Скажем так: в виду того, что этой дружбы на самом деле не существовало, она возникла в воображении Ермолинского и стала занятием его жизни. Это было бы не так уж и плохо. Ведь речь идёт о замечательном, большом писателе, которым любой может увлечься, не имея предела своему увлечению. Радуйся, что ты знал его лично и можешь рассказать хоть что-то из своих личных впечатлений. Однако, тщеславной натуры этого оказалось мало. Но и в этом случае у человека есть обязанность оставаться честным и достойным. Но нет, Ермолинского больше привлекает подлог и обман, нежели прямота и искренность. На пути к своей цели он идёт по головам других людей, в том числе и очень близких, совсем не бывших безразличными Булгакову.

В Союзе писателей и вообще в литературных кругах Москвы Ермолинский достиг положения непреложного знатока жизни и творчества Булгакова. Ведь за 45 лет, прошедших после кончины Булгакова, почти все те, кто его действительно близко знал, успели умереть, погибнуть, а здравствующие, очевидно, не представляли для Ермолинского особого препятствия. Он, видимо, не особенно их постеснялся перед ними, со своих высот "признанного" литератора, солидного члена Союза писателей СССР, он не убоился, что эти люди могут вывести его на чистую воду. Он предполагал, что это вряд ли может осуществиться и чувствовал себя в надёжной безопасности. Но Ермолинский, видимо, забыл, что имя Булгакова слишком значительно, чтобы такой человек, как он, мог поступать с ним, как ему заблагорассудится, что придёт время и раскроются все его махинации, и от них ничего не останется.

Закончим этот рассказ прекрасными словами, выбранными Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в качестве эпиграфа к своему роману "Белая Гвардия", которые он поместил вслед за цитатой из "Капитанской дочки" Пушкина: "И судимы были мёртвые по написанному в книгах сообразно с делами своими".

И ещё повторим вместе с Булгаковым заключительные строки из того же его романа:

"... Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд ни них? Почему?"

Москва, февраль 1985 г.

(Подготовка к печати Г. Поляка)

АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ ШАХОВСКОМУ

Глубокоценимый, глубокочтимый Владыка,
во дни Вашего 85-летия Редакционная Коллегия *Нового Журнала*
шлет Вам самые сердечные поздравления, самые сердечные по-
желания здоровья и бодрости.

**Да продлит Господь земные сроки Вашего Высокопреосвя-
щенства на благо Русской Церкви, русской культуры!**

Рина Левинзон

СТИХИ ОБ ЭСТОНИИ

В Америке мне не хватает только
эстонских "скульптурных" туч.

Из письма Алексиса Раннита

Эстония несмолкнувшие волны,
забытая мозаика лесов.
Алексис Раннит, я для вас припомню
все то, что увезла из тех краев.
Припомню, передам еще живую
ту землю — всю в туманах и дождях.
Эстония — так песню назову я.
Там снежный голос с нежностью в ладах,
Там голос Ваш на строгих площадях.
А здесь у нас ни снега, ни проталин,
с утра в окне иерусалимский луч.
Там Балтика струится, стынет Таллин.
Там родина поэта.

Тема туч.

ИЕРУСАЛИМ

Мне нравится этого города цвет,
его серебристо-жемчужный оттенок,
и светлые тени от гор и от стен,
и то, что все видно за тысячу лет.

И эти оливы с Масличной горы,
и эта трава Гефсиманского сада,
быть может, они-то как раз и награда
за то, что из дому ушла до поры.

АПРЕЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Все теплится, все еще тянется, длится,
над сонной печалью и радостью тихой плывет.
На донышке счастья какая-то горечь таится,
на донышке горечи странная сладость живет.
Как рано еще, как протяжно, блаженно и странно.
На город обрушился этот сиреневый свет,
Орешник расцвел над волшебным мостом Верразано.
Такая весна, от которой спасения нет.
И все еще сбудется, что-то еще может случиться,
и мост изогнулся над бездной беспечной дугой.
И, кто может знать, перед тем как навеки расстаться
придет невозможная близость из жизни какой-то
другой.

Дмитрий Шляпентох

ЗАГОВОР

Время действия: второй-третий века нашей эры. Время "солдатских и сенатских императоров". Рим. Капитолий. Зал дворца. Принцепс и сын возлежат на ложах. Поступили сообщения о новых нападениях варваров на границы Рима.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сын: Опять, отец, дурные вести.
Вчера Дунай шесть сотен перешло.
Сожгли заставу
И перебили гарнизон.

Принцепс: Где был начальник округа?

Сын: Отец, он невиновен.
Была такая теплая зима,
Но в ночь одну
Дунай покрылся льдом,
Открыл для них дорогу.

Принцепс: Ты принял меры?

Сын: Да, отец.
Я семь когорт послал
И сотню конницы тяжёлой.
Недавно прискакал гонец.
Всё кончено
Враги разбиты,
Отошли.

Принцес: Отлично.

Но почему же ты

Считаешь

Весть дурной?

Сын: Дурная весть, отец,

Дурная.

Границы беспокойны.

И это только первый знак.

Принцес: У нас потери есть?

Сын: Убито сорок человек

И сотня раненых.

Принцес: Убито сорок граждан...

Они умеют воевать.

Сын: И в этом виноваты мы:

Убийце дали нож.

Принцес: Как тебя понять?

Сын: Легко, отец.

Мы продавали им оружие,

Учили их искусству воевать,

Хитрить и льстить,

И наносить удары в спину.

Веками сеяли...

Сейчас же —

Мы собираем урожай

Нам некого винить.

Принцес: Они платили хорошо.

Нас погубила жадность.

Сын: Не жадность.

"Мудростью" мы называли это,

Большой политикой,

Игрой.

Народами играли мы,

Как пешками,

А вот сейчас
Мы ставим мат
Самим себе.

Принцес: Не понимаю я.

Сын: Чего тут не понять.
Мы варварам давали меч,
Чтоб бить парфян,
Парфянам меч,
Чтоб били гуннов.
Мы рыли яму для других —
Попались сами.
И кол живот нам
Пропорол
Или пропорет скоро,
Когда с востока гунн
Нагрянет,
А с запада — парфянин,
А раб, галл, грек, еврей
Ворота крепостей откроют
И нож чужой
Направят к сердцу,
Чтоб дважды им не бить.

Принцес: Ты слишком мрачно всё рисуешь.

Сын: Не мрачно.
Так, как есть.
В провинциях глухая скрытая вражда
И ненависть.
Как золото —
Лишь скрыто до поры
В кубышке скрягой старым.
Но срок наступит,
Придёт наследник молодой,
Щедрей его никто не будет.

Принцес: Что предлагаешь ты?

Сын: Нам нужно гуннам уступить,
С востока отойти,
Разъединить врагов
И тем спастись.

Принцепс: Нам Галлию оставить?
Иудею?
Сенат на это не пойдёт.

Сын: Ты принцепс или раб?

Принцепс: Ах, сын...
Нет власти у меня былой.
Здесь нужен новый Калигула
Убийца, деспот,
Враг людей,
Любовью власть не совершит добра.

Сын: Чернь Рима натрави на них!
Кинь в пасть народу мясо
Прельсти его
Лишь золотом чужим,
Приманкой высшей власти,
И увидишь —
Голодным псом
Чернь вцепится им в глотку.

Принцепс: И нас сметёт с тобой.
В одном мы клане с нашими врагами.
Коней с горы
Не удержать —
То путь опасный.

Сын: Постой!
Ты говоришь
Калигула пугает их.
Так вот,
Их этим запугай.
На вожака
Его же стаю
Напусти.
Пусть в нём они охотника увидят.

КАРТИНА ВТОРАЯ

*Комната заговорщиков. Они пируют, возлежа на ложах.
Свет факелов.*

Первый заговорщик (как бы невзначай): Как принцепс постарел.
Виски седеют,
Кожа дряблой стала,
Одышка и живот.

Второй заговорщик (тоже как бы невзначай): Морщинки вокруг
глаз.

*Третий заговорщик (отпивая вино и ставя чашу на низкий
стол):* Вчера двух слов связать не мог
На заседании Сената...
И шахматную доску
Природа невзначай
Смахнёт
Рукой пресыщенной,
Усталой.

Первый заговорщик (уже решительно): Он выполнил свой долг.
Пора сойти
И место уступить другому.

Второй заговорщик: Помочь ему нам надо
И руку протянуть.
Он слишком гуннов полюбил —
Симптом опасный
Болезни роковой.
Им в ставку шлёт богатые дары.
И легионы
Обещает отвести
С границ восточных.

Первый заговорщик: Пора, пора...
Покой,
 Качалка,
 Кашка

И ласки внуков и подруг.
Он засиделся.
(Окидывает взглядом заговорщиков)
Сенат поддержит нас,
Войска и Рим,
И предков кровь...
И будут боги с нами.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Здание Сената. Полукругом в тогах сидят сенаторы. В центре зала выступающий принцепс.

Принцепс: Над Римом встала страшная беда.
И нить судьбы
Раскосый гунн
Зубами перервёт.
Восток в огне костров,
И в каждом плавят сталь,
Куют клинки.
И в шахтах-оспинах
Лицо земли,
А на границах,
Словно ручейки,
Отряд с отрядом сливаются в поток,
Чтобы водою мутной
С полей Италии
Смыть то,
Что создал наш народ веками войн,
Трудов

И грабежей.
А с запада германец
Протянет руку им.
Петлю набросит на сапог
И сбросит в море.

Возглас с задних рядов: Мы сами вырастили их.
Силки поставили себе,
А вот сейчас
Кричим и бьёмся.

Принцепс: Что делать?
Нельзя назад нам повернуть.

Из рядов сенаторов подымается один из заговорщиков.

Метелл: Что делать, принцепс?!

Я отвечу.

Ответ — солдатски прост:

Устроим силы легионов,

Кулак на запад,

На восток

И смять

И тех, и этих.

Принцепс: Нам не поднять народ,
Метелл.

Метелл: Какого нам

Народа не поднять?

Того, кто породил Сцевола,

Кто задушил рукою галлов,

Германцев выгнал вон

И от которого,

Как пёс побитый,

В пески бежал

Разбитый Ганнибал?

Принцепс: Ему постыло следовать Сцеволе

И вечно быть

Распятым за других.

Он хочет жить сейчас.

Метелл: Не знаешь ты народа своего.

Один из сенаторов (на ухо соседу): Он начал...

Метелл (продолжает): В провинциях трава —

Вот пища для скотов,

Которых мы зовём

Владыками Вселенной.

А мы в Сенате

Жрём на серебре,

Распухли, зажирели,
Словно суки.
И лжём самим себе.

Принцепс (понуро опустив голову): Ты прав.
В стране забыт закон Катонов.
Я стар,
И мне пора уйти.
Я завтра назову
Преемника себе.
Сейчас же — разойдёмся
Ночь близка...

*Шум в рядах сенаторов. Они начинают медленно расходиться.
Разговор между двумя из них:*

Первый сенатор: Калигула грядёт.
Нам здесь не жить,
Уж слишком длинные мы крылья отрасли.
И новый повар
Нас первыми ошплет...

Второй сенатор: Спешу седлать коней,
Быть может, завтра
Поздно будет...

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Дом Метелла. Метелл с друзьями пьют вино. Все возбуждены.

Метелл: Он отступает
Значит, слаб.
Его не тронуть
Не жалеть
Друзей,

Страну,
Закон
И предков дело.

Второй заговорщик. Сенат, как женщина
Он примет сильного.
И сам отдастся.
Любой закон подпишет,
И вденет голову
В петлю.

Третий заговорщик: Здесь нужно дать надежду каждому,
Что он один спасётся,
Выживет,
 Уйдёт —
Всех остальных же
Перережут.

Старуха — мать Метелла: Его возьмём мы в полдень,
Когда он отречётся.

Метелл: А там почистим
Армию,
 Сенат,
 Софистов,
 Логиков,
 Актёров.

Второй заговорщик: Народ накормим мясом знати.
Имущество в казну
И щедрые раздачи,
Хлеб,
 Виноград,
 Ристалища,
 Бои,

Аскеза наша,
Скромность и порядок.
И будет
Мир в стране.

Метелл: Затем лошадку
Припугнём бичом
И мышцы нарастим
Для запада,
Востока,

Не будем
Ползать и просить,
Но требовать,
Как должно
Для страны великой.

Стук в двери. Входит раб.

Раб: Господин!
Послы Сената
Стучатся в дверь.

Метелл улыбается: Уже пришли,
Хозяина
Почуял пёс.
Вели впустить.

*Топот и шум борьбы. В комнату врываются с обнажёнными
мечами солдаты. Начальник отряда — молодой офицер.*

Начальник отряда: Метелл!
Именем народа и Сената
Ты арестован
По обвинению в измене.

Метелл (на ухо одному из заговорщиков): Он нас опередил.
(обращаясь к начальнику отряда):
Солдат,

Мне нравятся твои глаза.
Мне будет жаль
Тебя отправить в Мамертин
Или распять, как беглого раба.
Уйди
И подожди
До завтрашнего дня.

Начальник отряда: Всем следовать
За мной.

Метелл (медленно поднимаясь с ложа): Мне очень жаль тебя,
солдат.
Ты слишком молод,

Чтобы умереть так скверно.
Ты уже любил?
Хотя бы это знаешь?

Начальник отряда (приближая меч к груди Метелла): Быстрее.
Я не буду ждать.

Метелл с кривой улыбкой подымается с ложа. Солдаты связывают всем руки. Метелл, однако, успевает шепнуть на ухо одному из товарищей:

Преторианцы
Поддержат нас.
Их завтра
Перережут всех.

Начальник отряда: Все разговоры прекратить.

Невозмутимый Метелл и заговорщики выходят на улицу в окружении солдат.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Казармы императорской гвардии. Префект диктует секретарю: Пиши:

Враги в Сенат пробрались.
Под угрозой
Завоевань,
Купленные кровью
Отцов и дедов
Наших.
В условиях таких
Сын верный Рима,
Гражданин Метелл,
Взял власть,
Чтоб заговор пресечь.

Префект медленно ходит по комнате, продолжая диктовать: "Волей народа Метелл объявлен цезарем и отцом отечества. Императорская гвардия, легионы Италии и провинций уже присягнули ему. Весть о избрании Метелла встречена с

ликованием в Риме. Изменники отечества будут преданы суду. Ставь точку.”

Входит офицер.

Офицер: Мой генерал,

Преторианцы ждут.

Чтоб ты возглавил их.

Префект торжественно опоясывается мечом, надевает шлем с пышным султаном, а затем выходит вместе с офицером и секретарём.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Дворец. Ночь. Принцепс раздаёт приказы офицерам.

Принцепс: По тревоге

Поднять немедленно гарнизон.

Закрыть заставы,

Чтоб не ушёл никто.

Офицер: Слушаюсь.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Казармы преторианцев. Около них солдаты императорской гвардии. Рядом префект. Ночь. Свет факелов. Слышится шум толпы, окружившей казармы, и звон оружия. На переднем плане офицер армии. Он предъявляет преторианцам ультиматум.

Офицер: Вы проиграли.

Обложены казармы,

К утру начнётся штурм.

Бессмысленно

Не лейте кровь солдат

И граждан Рима.

Префект: Подумать дай.

Офицер: Хорошо.

Префект уходит и исчезает во тьме ночи. Слышится крик: "Он закололся" Преторианцы начинают бросать оружие.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Мамертин. Камера. По ней быстрыми, лихорадочными шагами ходит Метелл. Щелкает засов, и в камере появляется палач.

*Метелл (пнясь к стене): Прочь, мразь,
Не смей касаться,
Я — сенатор Рима
Палач валит его на пол и душит.*

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Сенат. Выступает принцепс.

*Принцепс: Вчера войсками
Подавлен заговор.
Глава его Метелл
Покончил жизнь
Самоубийством.
Все остальные преданы суду
И обезглавлены сегодня утром.
Шум среди сенаторов.*

ЗАНАВЕС

Евгения Грэй

ТАВРОМАХИЯ*

Памяти Э.Г.

Крит богатый, морская держава,
здесь рождаются красивые дети,
здесь избыточны звери и травы,
здесь на стенах — красивые боги.

Хороша им моя обреченность.
Помню, солнца разящие струны,
Длиннорогий мой бог, выводимый
под удары незрячего сердца.

Между жизнью и смертью не пропасть,
Неуместность предсмертного стога,
говорили жрецы, объяснима
Тем, что в этом опаснейшем танце

мы отводим беду от потомков.
Побледнели нарядные жены,
и к помосту подводят ребенка
из числа, как и я, обреченных.

Я умею обманывать злобу
рогоносного бога — прыжками.
Утомится от гнева утроба,
и не будет он яростен с вами.

Тишина небогата словами.
С богом девочка занята делом.
Скрип песка под босыми ногами,
след кровавый от мертвого тела.

*Тавромахия — древнекритский танец ребёнка и быка. Так жители древнего Крита пытались укротить стихии и предотвратить бедствия.

Э. Штейн

Владимир Набоков: шахматно-поэтические коллизии творчества

В жизни Владимира Набокова не было малинового звона шахматной "путеводной ноты", чему виновником был он сам: в ставшей внезапно исторической тринадцатой главе воспоминаний — "Другие берега" писатель констатирует: "Единственное мое возражение против шахматных композиций это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства". Продолжим недоговоренное писателем: "чудовищные трудности предстоящего перевоплощения", о которых он писал в предисловии к русскому изданию "Других берегов", не прошли без потерь — оказалось, что слишком мало времени посвятил он шахматной Музе, и она за это его наказала. Шахматно-комpositorского дара Набокову с лихвой хватило бы на то, чтобы встать в ряд с Ллойдом, Врубелем, Троицким — величайшими шахматными проблемистами, однако, творческая раздвоенность помешала этому. Не стал Набоков и великим русским поэтом 20-го века (звание это он самолично уступил Ходасевичу) — всемирную славу принесли ему романы. По иронии судьбы, приблизительно такой же путь потерь и приобретений прошел в наше время еще один гениальный самородок, пишущий слабые стихи и создавший шедевры шахматной композиции. Не за это ли богиня шахмат Каисса помогла ему, Каролу Войтыле, занять Папский Престол?

Анализ шахматной и поэтической "массы" в творчестве писателя далеко не формален по своей сути, постановка этого вопроса имеет еще и дополнительное, культуртрегеровское значение: а именно, как влиял Набоков своими шахматно-поэтическими дерзаниями на зарубежных коллег по цеху и, как ни пара-

доксально, как замкнутый черно-белый квадрат доски способствовал явлению Набокова советскому народу, событию хотя и значимому, но...

Сначала небольшой экскурс в прошлое. Вспоминается, как лет этак пятнадцать тому назад, в самом начале семидесятых, в Йельском университете с лекцией "Книга в СССР" выступал директор библиотеки Белорусской Академии Наук. Довольно опрометчиво я тогда спросил выступавшего: можно ли вскоре в Союзе ожидать публикаций произведений Набокова (в то время в 5-ом томе КЛЭ уже была статья о писателе). На вопрос докладчик ответил наступательным вопросом: "А вы давно выехали из СССР?" Мой ответ, что де давненько, тут же был парирован убийственной сентенцией — "Вот это-то и видно. Вы лишь слыхивали фамилию большого русского писателя, поэтому и не запомнили её хорошо — он не Владимир НА...НА... ГОДОВ, а Юрий Нагибин!" Полагаю, что сегодня ученый муж знает уже, что Набоков — это не Нагибин и вице вэrsa.

Сорок четыре года тому назад в пророческом стихотворении "Слава" Набоков предвидел свою литературную судьбу в России:

Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
до конца, до небес доскрестись: никогда,
никогда не мелькнет мое имя — иль разве
(как в трагических тучах мелькает звезда)
в специальном труде...

На карнавальном разгуле горбачевской "гласности" литературный тамада, Фазиль Искандер, представил советскому читателю Набокова через полуоткрытую дверь специального издания "Шахматное обозрение".

"Шахматы в СССР" тоже посвятили свои страницы писателю. И стал Набоков своеобразной "добычей Рока" (слова Лозино-Лозинского): попал под цензурные ножницы.

Многочисленные поклонники творчества писателя на Западе неслыханно обрадовались: набоковский номер "Шахматного обозрения" стал бестселлером не только в СССР, но и в свободном мире. В ажиотаже и междометных всплесках упущено главное: даже безвинная, чисто шахматная часть 13-ой главы "Дру-

гих берегов” была главлитовцами ”подглажена” — из неё вычищено полпредложения. Вот оно: ”... в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий”.

В цензурировании Набокова советской ”гласностью” ничего удивительного нет, кроме вдруг возникшей чисто шахматной ситуации, когда один игрок допускает грубейшую ошибку, а его соперник проходит мимо выигрывающего хода. В шахматном ”не поклонюсь, не примирюсь”, Набоков, увы, переборщил через край. Русь советская, конечно, сусальная, полная ”немного рабства”, но, нравится нам это или нет, советская шахматная школа все еще ведущая в мире. Утверждение писателя о серости и о перевыполнении бездарных заданий — грубейшая ошибка, оставь её главлит — увидели бы миллионы советских шахматистов, что не слыхивал Набоков ни о Гаврилове, ни об Умнове, ни о Каспаряне, ни о многих других утонченных проблемистах. Или проще, Набоков, как говорят шахматисты, ”зевнул” целый пласт мировой шахматной культуры и, о диво! — был прощен.

13-ая глава ”Других берегов” — композиторское кредо писателя-проблемиста, пожалуй, самое блестящее, что создано мировой литературой об этюдах и задачах, но, как часто это бывало с Набоковым, необузданная фантазия и излишний адреналин приводили его на грань абсурда. Не будем однако слишком строги: отметим, что все чемпионы мира от первого — Вильгельма Штейница до нынешнего — Гарри Каспарова допускали страшнейшие ”зевки”-промахи. Если уж им Каисса позволяла подобное, то Набокову это, тем паче, простительно. Проблемист-писатель с поднятым забралом идет против шахматного мира, он утверждает: ”Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно неспособны задачу сочинить” (”Другие берега”). Переведенные на язык шахматных фигур, словеса эти не вписываются в квадрат доски, место им разве что в закрытой наглухо коробке.

Мастерам и гроссмейстерам незачем в кабинетной тиши плодить задачи и этюды, они их часто создают за доской, во

время ожесточенной спортивной борьбы — в этом-то и состоит извечная прелесть шахмат, их превосходство над условным, прикладным искусством композиции, вырванным из контекста сражения, когда уничтожены шахматные мизансцены, нюансы, страсти... Гроссмейстер, сочиняющий задачи, уподобляется тому поэту, который способен писать только акростиhi, а в лучшем случае, пентакростиhi. И все же именно Набокову принадлежит первенство в том, что им очерчен круг, им определена шкала "гамбургского счета" задач и этюдов — не как конфликтная ситуация между белыми и черными, а как интеллектуальное перетягивание каната между составителем и возможным разгадчиком.

В поэзии Набокова не найти дионисийского начала, Муза его скорее аполлонического характера (это и сблизило его с Ходасевичем). И хотя знаем мы, что поэт стремился развить византийскую образность (об этом в предисловии к книге "Poems and Problems"), хорошо, что попытка не удалась ему. Хорошо это потому, что шахматные композиции Набокова, классической их структурой, почти адекватны его поэзии, а в композициях византийская аляповатость может превратить шахматный ансамбль в... рашник. В его стихах и задачах присутствует определенный что ли иконологический смысл, почти исчезает элемент случайности (не потому ли Набоков боялся играть с сильными шахматистами?). Шахматная романтическая школа была чужда ему, поэтому в его композиторском творчестве все мотивировано и обусловлено. При всем этом касался он иногда вещей невозможных (хотя отлично понимал, что окончательного решения быть тут не может), не чуждался он и блефа не только в поэзии, но даже и в шахматах.

Толковый словарь русского языка Ушакова определяет слово "блеф", как "выдумку с целью внушить другому преувеличенное представление о себе, пустить пыль в глаза, запугать..." Блеф и блефование почти лишены в шахматном процессе негативной окраски — это элемент борьбы, соломинка утопающего (именно в такой шахматной ипостаси употребляется здесь это слово, даже тогда, когда разговор ведется о поэзии.) Вспомним, как искусно блефовал Набоков, скрывшись за псевдоним Вас. Шишков и как тогда попался в поэтическую ловушку и был раз-

громлен такой лис, как Георгий Адамович. Не забудем и пушкинскую загадку, так и неразгаданную, — а что же на доске таил в себе ход Ленского ладьей?

В стихотворении "Рыцарь", написанном в 1919 году и включенном в книгу "Стихи" (Анн Арбор 1979), сталкиваемся мы с попыткой поэтического героя спастись:

Последнею пожертвовал я пешкой,
шепнул: "сдаюсь", и победитель мой
с какою-то знакомою усмешкой,
привстав, ко мне нагнулся над доской...

До голого короля шахматисты, как правило, не играют. У героя же "Рыцаря" остался последний шанс: вдруг его противник возьмет "отравленного пехотинца" и это приведет к мату и спасению — блеф в этой несколько мистической схватке не прошел. На описании блефового ведения боя построен отточенный сонет Набокова "В ходах ладьи..." Попутно отметим, что лучшие шахматные стихотворения Набокова написаны сонетной строфикой, очевидно потому, что красивые партии по дебюту тот же сонетный тезис, по миттельшпилью — разгоревшийся конфликт, а эндшпиль, как и последний терцет, сонетный "замок", обобщение предыдущих стадий игрового процесса. Крайне жаль, что Набоков не включил эти стихотворения ни в один из своих сборников, даже в такой, как "Poems and Problems", где для них явно есть место. Найти же сейчас эти сонеты крайне трудно: разбросаны они по колонкам берлинской газеты "Руль". Если у Пушкина ладья Ленского почти беспредметна, то у Набокова — она символ единства двух видов искусства — творений Каиссы и Мнемозины:

В ходах ладьи — ямбический размер,
в ходах слона — анапест. Полутанец,
полурасчет — вот шахматы. От пьяниц
в кофейне шум, от дыма воздух сер.

Там Филидор сражался и Дюсер.
Теперь сидит — бровастый, злой испанец
и гном в очках. Ложится странный глянec
на жилы рук, и взгляд — как у химер.

Вперёд ладья пошла стопами ямба.
Потом опять — раздумие. "Карамбо,
Сдавайтесь же!" Но медлит тихий гном.
И вот толкнул ногами цвета йода
Фигуру. Так! он жертвует слоном:
волшебный шах и мат в четыре хода.

Шахматы, как род человеческого мышления, не могут использоваться в поэзии произвольно, они — не сказка, хотя за две тысячи лет существования обросли множеством легенд. Шахматы в поэзии не "Алиса в Зазеркалье", а они, как сама поэзия, о которой покойный Алексис Раннит справедливо говорил: "Поэзия — это священная геометрия, и технически каждое стихотворение тождественно крестословице". Добавим — иногда подобно своеобразной крестословице — шахматам. В забытом стихотворении "Я не писал законного сонета" (газета "Руль" 1924 год) эту же мысль Набоков выразил блестящей поэтической "комбинацией", с изящным финалом:

Я не писал законного сонета,
хоть в тополях не спали соловьи,
но, трогая то пешки, то ладьи,
придумывал задачу до рассвета.
И заключил в узор её ответа
всю нашу ночь, все возгласы твои,
и тень ветвей, и яркие струи
текучих звёзд, и мастерство поэта.
Я думаю, испанец мой и гном,
и Филидор — в порядке кружевном
скупых фигур, играющих согласно, —
увидят все, — что льётся лунный свет,
что я люблю восторженно и ясно,
что на доске составил я сонет.

Антиподы на земле не повенчать, как к этому ни стремился Есенин, а вот соединить в единое прекрасное целое два вида искусства можно, что и сделал Набоков, "на доске составив сонет", не суть важно какой, пусть и шахматный. Не всегда, однако, розами бывает устлан путь творца. Подтверждение тому нахо-

дим мы в первом терцете забытого сонета Набокова "Движенья рифм и танцовщиц крылатых":

Звездообразны каверзы ферзя.
Дразнящая, узорная стезя
уводит мысль, — и снова ум во мраке.

От наваждения, от умственной горячки, от помутнения сознания спасает композитора, преследуемого навязчивой идеей черно-белых полей, лишь нервный, опустошающий сон:

Душа забвенью зря училась:
во сне задача решена.
Решенье чистое, простое,
(о чём я думал столько лет?)
Пожалуй, и вставать не стоит:
Ни тела, ни постели нет.
(*"Что за ночь с памятью случилось"*)

Психологи до сих пор не нашли точной дефиниции этой силы человеческого мышления, поэты же, подобно Набокову испытывавшие шахматное прозрение во сне, воспевают этот феномен. Говорю я тут о Валерии Перелешине и его стихотворении "Блики сводят с ума" (это рабочее заглавие было позднее заменено поэтом на более ёмкое — "Шахматы").

Список-перечень поэтов, оказавших в русской поэзии XX века решающее влияние на дальнейшее развитие шахматной темы откроется не именем Набокова. Мы должны довериться тончайшему камертону поэтического чутья Мандельштама, считавшего шедевром "Чимерисандо" Лозино-Лозинского — "Я в шахматы играл с одним евреем, странно напоминавшим мне рисунки древних Фив." Все же остальное, кроме чемпионских лавров, не в счёт. В гипотетическом этом списке быть, однако, Набокову перед Пастернаком. Нобелевскому лауреату потребовалось более 40 лет, чтобы изменить свою шахматную позицию. Ведь написал он в начале века, в концовке "Марбурга" — "И тополь — король, королева — бессонница. И ферзь — соловей". И дело не в том, что поэт запутался в одной фигуре — в ферзе, а в том, что конфликтность шахматных стихов Набокова намного острее трёх катренов "Марбурга". И все же...

Вернемся к злопахательному стихотворению Набокова "Пастернак":

Его обороты, эпитеты, дикция,
 стереоскопичность его —
 все в нем выдаёт со стихом Бенедиктова
 своё роковое родство.

Стихотворение рикошетом бьёт по самому автору, который слишком поверхностно оценивает так называемую шахматно-поэтическую позицию. При поспешности, а последняя не всегда панацея даже в жесточайшем цейтноте, можно и самому сорваться на плоские эпитеты и "стереоскопичность". В "Других берегах" Набоков пишет: "И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир..." А вот концовка стихотворения "Вот это мы зовём луной", написанного в 1942 году:

В ложбине мрак остроугольный
 ползёт по белизне рябой.
 У нас есть шахматы с собой,
 Шекспир и Пушкин. С нас довольно.

От перемены мест слагаемых и в этом случае ничего не меняется, замена местами Пушкина с Шекспиром ни к чему не ведёт.

Не нравятся Набокову обороты и эпитеты Пастернака, но как он ему подражает, или находится под его влиянием. У Пастернака в шахматной части "Марбурга" изысканная аллитерация — "И страсть, как свидетель седеет в углу..." Чуть позднее Набоков, подводя своего героя к доске, как бы дополняет эту пастернаковскую аллитерацию в стихотворении "Рыцарь": "Я не один: в углу — средневековый суровый страж, составленный из лат." 4:3 в пользу Набокова в этом аллитерационном "матче", место схватки за Пастернаком — "угол" страсти ведь его. Герой "Марбурга" партию жизни играет ночью — "Ведь ночи играть садятся в шахматы со мной..." То же самое и с противником набоковского рыцаря — "Я в замке. Ночь. Свод сумрачно-дубовый". Да и в финалах "партий" поэты повторяют друг друга. У Набокова — "Очнулся я ... и на местах все 32 фигуры передо

мной на шахматной доске". У Пастернака: "И ночь побеждает, фигуры сторонятся, я белое утро в лицо узнаю". И Набокову, и Пастернаку светили в шахматной метафорике все те же звёзды, та же луна, сопутствовали те же тени, только Набоков прожил с ними всю жизнь. а Пастернак вернулся к ним в конце творческого пути, на флажке, как говорят шахматисты.

Из неразгаданных шахматных "сказок" Набокова самая важная — "Защита Лужина". Нам фактически известны две антишахматные книги; первая — автобиография Виктора Корчного "Антишахматы", вторая — набоковский роман. В конечном счете дело даже не в том, что нет в теории никакой "защиты Лужина", как и нет "варианта Турати". Все намного сложнее — ведь Лужин не сильный шахматист, он не боец, а растерявшийся третьеразрядник. Жизненные ходы Лужина идут по горизонталям "быть или не быть" и когда, наконец, достигнут последний рубеж, линия превращения осязаема, пешка так никогда и не превращается в ферзя... Все катится вспять в бездну. Да и задачи Набокова построены в основном по этому же принципу: в них, как правило, несколько решений, мужественному пехотинцу так и не стать ферзем...

Для тех читателей, которые интересуются не только литературой, но и шахматами, я позволю себе привести здесь письмо В. Набокова, датированное 6-ым ноября 1972 года:

"Уважаемый господин Штейн!

С большим интересом я прочёл ваши замечания о моих стихах и задачах. Благодарен вам за присылку вашей статьи. Я надеюсь, что в вашем экземпляре "Poems and Problems" имеется указатель замеченных опечаток, (я имею в виду диаграмму N. 11, стр. 192 американского издания книги). Будьте любезны, снабдите, пожалуйста, поле "E 6" чёрной пешкой. С искренним уважением, Владимир Набоков".

У кого в личной библиотеке имеется экземпляр книги "Поэмс энд проблемс", поставьте, пожалуйста, злосчастную чёрную пешку на поле "E 6". Поставили? Спасибо!

С. Шварцбанд

О МИХАИЛЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ПРИШВИНЕ

Идите за правдой, а я буду стоять за истину.

М. Пришвин

М. М. Пришвин (1873-1954 г.г.) пришел в литературу вполне зрелым человеком — ему было уже за тридцать, когда в «Русских Ведомостях», «Речи» и «Утре России» появились его первые корреспонденции (1905-1907 г.г.). Однако его литературной деятельности предшествовали: участие в работе марксистского кружка, одиночное заключение в тюрьме, разочарование в политической деятельности и годы учебы в Лейпцигском и Иенском университетах в Германии. Вот почему после возвращения в Россию Пришвин занялся под руководством Н. Ончукова и А. Шахматова изучением народного быта, навсегда отказавшись от участия в революционном переустройстве общества.

Избрав «медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе», Пришвин отправился в Выговский край, очерки о котором составили его первую книгу «В стране непуганных птиц» (1907 год). Профессия агронома способствовала тому, что свое внимание Пришвин сосредоточил на сельской жизни. Однако интерес к деревенской глуши зависел не от происхождения и не от детских впечатлений. Ни народнические тенденции, ни моднейшие философские и эстетические течения, ни опыт первой русской революции 1905-1907 г.г. и «передовые идеи» рабочего класса не могли дать ответа на важнейший для Пришвина вопрос о «первородном» грехе человека, который

хотел «перескакивать через коротенькую правду маленького человека и вырабатывать законы великой правды, не считаясь с простым существованием». Вот почему в «простом существовании» Пришвин видел реальную альтернативу «цивилизованному обществу».

В 1908 году вышла новая книга Пришвина — на сей раз о норвежских впечатлениях — «За волшебным колобком», а в 1909 году — «У стен невидимого града» — о жизни сектантов русского Севера.

«Палеонтологическое» общество с образами ведунгов, сказочников и плакальщиц, с его наростами примет и суеверий, с тяжким, но всегда *ритмическим* трудом, жившее в «естественном состоянии», было *противопоставлено* укладу цивилизации. Вот почему судьбы крестьян-переселенцев в Сибири («Адам и Ева», 1909 г.), романтика кочевого быта («Черный араб», 1909 г.), вековые традиции крымских караимов («Славны бубны», 1913 г.) в равной степени волновали Пришвина. Десятки очерков и зарисовок, напечатанных в периодических изданиях, свидетельствовали о колоссальной активности писателя. Дружба с А. Блоком, И. Рязановским, А. Ремизовым, А. Толстым, переписка с Горьким, участие во многих начинаниях прогрессивных издательств — все это делало Пришвина заметной фигурой в дореволюционных литературных кругах.

Доскональное знание патриархального уклада российских окраин закономерно привело Пришвина к отрицанию «бессмысленных мечтаний» о революционном переустройстве общества. В 1917 году, доказывая, что «земли не хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет», Пришвин жаловался А. Ремизову: «В мясе-то копаться человечьем — все эти вертящиеся палочки, вся эта накупь старых неоплатных долгов: месть, злоба — весь этот выверт жизни и неизбежность проклятия — революция — нос повесишь».*

В декабре 1917 года Пришвин был арестован, но скоро выпущен. Его статья «Большевик из «Балаганчика» глубоко оскорбила А. Блока, и тот 16 февраля 1918 года с обидой писал: «Г-н

* А. Ремизов, Взмихренная Русь, Париж, 1927 г., стр. 59, 67.

Пришвин хайт меня в «Воле страны», как не хаял самый лютый враг». Летом 1918 года Пришвин уехал из Петрограда в деревню, признав не революцию, а себя «лишним, и ушел не в быт с чеховскими героями, а в то бытие, где зарождается поэзия, где нет существенной разницы между человеком и зверем».

Критики приняли это высказывание Пришвина за покаяние: «Писатель признал ошибочность своих позиций в 1917-1918 годах, но не создал ни одного рассказа, где дал бы революционным событиям иной ракурс чем в «Халамеевой ночи».* Но свидетель революции никогда не вспоминал и не писал о времени «передела по живым душам», когда нравственным оправданием убийства людей стала формула «не людей убивают, а буржуазов», («Красный гусак», 1918 год).

Затерявшись в деревенской глуши, откуда «скоро не мог сигнализировать человеку и брать право суда над ним», Пришвин (по определению А. Ремизова — «пугливый») приступил к роману, задуманному еще в 1915 г. — о *кащеевой цепи неволи*, опутавшей человека. И имя этой неволе было — *страх*, воплотившийся в образе «зайчика».

В «Красной нови» (1923) были опубликованы первые три «звена» («Голубые бобры», «Маленький Каин», «Второй Адам»), составившие первую книгу под названием «Курымушка» (с подзаголовком «Повесть», 1924 г.). Остальные звенья, вошедшие во вторую книгу «Юность Алпатова» (1926-1928 г.г.), публиковались в «Новом мире». Обе книги были объединены в роман «Кашеева цепь». Не очерки о сапожном промысле «Башмаки» (1922 г.), не «охотничьи рассказы», не фенологические наблюдения, собранные в книгу «Родники Берендея» (1924 г.), а роман «Кашеева цепь» определяет место Пришвина в истории русской советской литературы 20-х годов.

После отдельного издания «Курымушки» (1924 год) Пришвин вынужден был предпослать «Юности Алпатова» в 1926 году характерный зачин, в котором объяснял: «Мои друзья» прочитав рассказы о Курымушке, однако, совершенно не догадались, что

* И. Мотяшов, Михаил Пришвин, М., 1965 г., стр. 152.

рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике и все приняли как автобиографию и семейную хронику. Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды... не явился мне таинственный зайчик и я не задумал сделать эту сказку — и очень близкую моей собственной жизни, и очень далекую». Это — сказка об «очеловечении», тогда как «Заячий путь — нам единственный», — тема романа «Кашеева цепь». В первой книге («Курымушка») Пришвин рассказал о «звеньях» неволи: страх перед разоблачением за взятую без спроса грушу («Тайна сухой груши» и «Озорная тропка»); страх жизни и смерти («Суд» и «Открытие»); страх, приводящий к «закрещиванию мысли» («Лобан» и «Подпольная жизнь»); страх сильных «мира сего» («Школа народных вождей»).

Во второй книге («Юность Алпатова») Пришвин построил сюжет на попытках героя прорвать Кашееву цепь. Алпатов, втянутый в конспиративную работу марксистского кружка, по доносу провокатора оказался в тюрьме. Объявив себя невестой, революционерка во время свидания сообщила герою, что она ждет Алпатова за границей: на языке конспираторов это означало скорое освобождение. Буквально поняв сообщение «революционной невесты», Алпатов сразу же после освобождения уезжает за границу («Государственный преступник»). Поселившись в рабочем квартале Берлина, Алпатов скоро постигает разницу между «запрещенной порядочной жизнью» в России и «разрешенной в Германии»: революционная борьба, «недоброе усилие» — потеряла свою привлекательность.

Учеба в университете и занятия наукой увели Алпатова из мира «органического творчества» в мир долга и общественной пользы («Юный Фауст»). Встреча с любимой девушкой открыла Алпатову чувство *красоты*, из которого «дурные, испорченные и слабые люди создали... грех». Однако, человеческая любовь оказалась опутана цепями брака («Положение»). *Тройная* неудача помогла Алпатову понять, что «к источнику ослепляющего нас света нужно обернуться спиной и смотреть не туда, в светило, а на освещенные им предметы». Только в такой позиции становилось ясно, что политика, наука и любовь предлагали человеку вместо Кашеевой цепи страхов иные оковы, ли-

шая права «на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением». Пришвин закончил роман на последнем повороте жизни Алпатова к подлинной свободе личности, определяемой его естественным, природой данным поведением.

Роман «Кашеева цепь» не имел логического завершения вовсе не потому, что «автором было исчерпано содержание его собственной жизни», но потому, что «старая правда встретилась с новой, между ними завязалась борьба» и стало «невозможно писать о себе: писать... в те годы, когда все жизненные ценности предстали на суд».

Одновременно с публикациями последних «звеньев» романа, Пришвин готовил сборник рассказов о творчестве — «Журавлиная родина» («журавли родятся у нас, а летят по всему свету»). Однако, общественно-литературная ситуация весны-лета 1928 года привела Пришвина к неожиданному решению: герой «Кашеевой цепи» из далеких предреволюционных годов сразу становился современником читателя 20-х годов. Название сборника «Журавлиная родина» было дополнено подзаголовком: «Повесть о неудавшемся романе», а к уже написанным девяти главам Пришвин добавил три раздела «Клавдофора», «Маралово» и «Вечная игрушка» (гл. X-XVII).

Две статьи о «клавдофоре», опубликованные Пришвиным в «Известиях» от 8 июля и 11 ноября 1928 года, открыли ему сюжет «алпатовской» части «Журавлиной родины». Однако, организующим принципом повествования Пришвин сделал переключку «поступающей в ...сознание действительности с легендой об инженере Алпатове». Сюжет, выбранный Пришвиным, был до удивительности прост: в Константиновской долине, родине журавлей, было обнаружено озеро с реликтовым растением клавдофорой; осушение озера и болот вело к уничтожению редчайшего реликта «с его неведомым мифом». Алпатов направлен в Константиновскую долину для того, чтобы «изменить лицо края» и тем самым уничтожить реликт. Спуск озера затопил бы место, где размножаются журавли. Алпатов не согласен «расскаться... с мечтой открыть людям Золотую луговину; и в таком случае он может утопить экскаватор». Так осушение долины (мелиоративные работы) во имя людей столкнулись с мечтой

открыть людям Золотую луговину (скрытую в болотах «журавлиную родину»). Размышления о будущем (что скажут мужики, когда «экскаватор, прорыв магистраль, потребует от населения больших личных жертв по дальнейшему осушению?») вызывают у автора отклик: «Я забыл про Алпатова... Конечно, я писал с хитрецей (газетные статьи Пришвина — С. Ш.), прославляя дело мелиораторов, но я спрашивал, известно ли что-нибудь о спуске озера ученым, которым вверено дело охраны памятников природы. В этой фразе и был мой прицел... ученые тут проморгали, а инженеры их обошли».

Пришвин не ошибался: и его статьи, и мечта его героя были настолько несозвучны «поступающей в сознание действительности», что вскоре повествователь «во всем краю, в каждой деревне, на каждом сходе, на всяком току... стал известным, как враг народа». Поэтому мечта героя и художественное творчество Пришвина вполне закономерно оказывались враждебными самой действительности: «Вот вдаль слышится свисток плавучего экскаватора, там эта землечерпательная машина... приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить, и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу».

Не «болотная эстетика» далеко завела писателя, и не он со своим героем «заблудился», но само переходное время — действительность. Решения у дилеммы не было и не могло быть, потому что «не только трава ледниковой эпохи, но, может быть, в каком-нибудь сарае пропадало от сырости и невежества редчайшее произведение... больше: просто по досадной ошибке чья-нибудь жизнь, больше, чем жизнь, сама личность творящего жизнь существа». Только теперь Пришвин мог признаться в том, что разрыв Кашеевой цепи оказался невозможен, ибо «пропущенным звеном» (а значит, и неразорванным) было *«действие чувства свободы»*. Действительность враждовала не с мечтой Алпатова и творчеством автора, но с деятельностью, основанной на чувстве свободы.

«Журавлиная родина» («алпатовская» часть) была опубликована в конце 1929 г., когда кампания против Б. Пильняка и Е. Замятина достигла апогея. Однако письмо Горького, ставшее предисловием к собранию сочинений М. Пришвина, рассказ

«Неизвестные птички», в котором Пришвин говорил о своем желании посвятить «Журавлиную родину» Горькому, статьи Горького в 1928-1929 годы с упоминанием имени Пришвина — все это, по всей вероятности, помогло Пришвину избежать расправы, хотя критик-зоил доносил о неумении или о нежелании писателя «служить задачам классовой борьбы, задачам революции».* Наметившаяся «либерализация» в период подготовки к Первому съезду советских писателей, возвращение Горького из-за границы и его докладная записка (совместно с группой писателей) «О детской литературе» (1931 год) в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» — сделали имя Пришвина в достаточной степени неуязвимым.

Командировка на Дальний Восток дала материал для очередной повести писателя, опубликованной сразу же после написания, в 1933 году — «Жень-шень» (1932). После окончания русско-японской войны (1905 год) повествователь остался жить «в девственной природе по своей вольной волюшке», в уссурийской тайге. Здесь он познакомился с китайцем-охотником Лувенем, который стал для повествователя «культурным отцом», ибо суть культуры — «в творчестве понимания и связи между людьми». Реликтовый корень жизни жень-шень «с формой человеческого тела», пятнистый «олень-цветок» (по-китайски «хуа-лу»), камень «как черное сердце» — три образа, помогающие разглядеть сплетение метафорического повествования Пришвина о пользе и красоте.

Из рогов (пантов) пятнистых оленей добывается дорогостоящее лекарство. Обнаружив, что на пастбище мыса Орлиное Гнездо есть только один проход, герой повести решает создать на нем естественный питомник для оленей. Он приручает ланку хуа-лу и во время оленьего гона заманивает животных на пастбище, перегородив выход из него веревками: «Я представлял себе мое пантовое хозяйство в четырех формах: первое хозяйство — это мой домашний питомник, где пантачи содержатся в неволе до срезки пантов и потом выпускаются во второй, на мыс Орлиное Гнездо, третий отдел — парк Туманная гора; и...тайга — как постоянный резерв диких оленей... Я мечтал дальше,

* А. Ефремин, Михаил Пришвин — «Красная Новь», кн. 9-10, 1930 г., стр. 221.

что я... окружу себя китайцами... и сделаю так, чтобы они, оставаясь внутренне независимыми от соблазнов цивилизации, сами бы становились, как европейцы».

Прошло десять лет и вокруг все изменилось — «поселок на берегу Зусу-хэ стал небольшим городком и столько собралось тут разных людей». Корень жизни, некогда высаженный Луве-нем, через пятнадцать лет был добыт; герой смог полюбить «другую женщину, как желанную в юности». В этом и была «творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом».

По «своим большим делам» герой часто ездит «в Москву, в Шанхай»: «И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой жень-шень, чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел корень жизни, и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге». Итак, у героя «есть заманчивое дело», есть «друг-жена и милые дети». И есть одна мелочь, которая является «таким же исходным моментом жизнетворчества, как у оленя смена рогов». Эта «мелочь» — прошлое, которое заставляет обращаться к «истинному другу, сердцу-скале» с трагическим рефреном: «Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца!»

Казалось бы, именно о том, как герой «схватил за копытца» жизнь, Пришвин и рассказал. Однако сам победитель оказался побежденным. Когда хуа-лу просунула сквозь виноградные сплетения копытца, в герою стали бороться два человека: «один говорил: «Упустишь мгновенье, никогда оно к тебе не возвратится... Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка хуа-лу...». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Вот почему, приручив хуа-лу, построив питомник, обретя друга-жену и став отцом, охотник (герой) нашел корень жизни «в тайге» полезного действия, но заплатил за него потерей Красоты. А без нее счастье человека невозможно, если, конечно, не смотреть «на людей, как они живут», ибо для счастья, как и для корня жизни, нужна «чистая совесть».

Повесть «Жень-Шень» писалась в преддверии «большого террора». Оптимизм ее, столь восхищающий иных критиков, был обманчивым: «полезное действие» стало корнем бытия общества, лишённого прошлого и красоты».

Между тем «текущее время» возвращалось на круги своя: 1934 год напоминал 1928 год, когда в «Журавлиную родину» Пришвин вставил небезопасную характеристику эпохи: «Взял я газету и от нечего делать прочитал о вредителях в Шахтинском деле: вредители были инженеры, немцы все неподписанные (т.е. не имевшие советского подданства — *С. Ш.*). И все-таки советская власть их посадила в тюрьму». Убедившись, что советская власть «может брать и подписанных и неподписанных», Пришвин прозорливо понял бессилие человека, если «чья-нибудь рука прямо возьмет... за тот самый «язык», которым помогают в еде».

Тем не менее, Пришвин продолжал писать о «заячьей хитрости». Морены — скопление обломков горных пород при передвижении ледников. Такими моренами мыслились писателю короткие мысли-притчи, которые были «неглупы, но неподвижны». И хотя Пришвин, «как настоящий писатель, попробовал написать роман и перешепнуться в нем с друзьями о человеке», с наступлением «ледникового периода» (после смерти Горького) писатель двинулся путем мертворожденных морен.

До 1940 года Пришвин не публиковал новых книг: собрание сочинений, вышедшее в 1935-1939 годах, не включало ни «Юности Алпатова», ни «Журавлиной родины». Только после правительственной награды (орден «Знак Почета») в 1939 году, Пришвин осмелился предложить журналам «Пионер» и «Новый мир» сразу три произведения «Неодетая весна», «Фацелия» и «Лесная капель».

Через десять лет писатель записывал в дневнике: «Читаю с огорчением «Неодетую весну». Так плохо и так неприятно написано. В сущности, я представлял практику жизни, где надо убивать врагов, а стоял за принцип: писателю нехорошо выставлаться убийцей». «Борьба за «Фацелию» помогла Пришвину осознать, что его сила «была в незнании среды, с чем боролся». В то же время «Лесная капель» представлялась ему «попыткой сказать правду», но эта правда «поколола чьи-то глаза... я, как

писатель, стал жертвой». Наученный горьким опытом, Пришвин, задумывая «Лесную повесть», решил, что она «затаит в себе трагедию правды... будет все... а человек затаится».

Конечно, среди «морен» (коротких рассказов-притч) встречаются удивительные вещи, как, например, «Волчье лыко» («Лесная капель»): «Как только друг ушел от меня и я оглянулся вокруг себя, внимание мое остановил старый пенек... А из-под низу сквозь слой выбилось на свет... волчье лыко и сейчас расцвело маленькими малиновыми цветочками... Смотрю на него сейчас и дивлюсь, и по нем вспоминаю некоторых знакомых людей: издали очень хороши, а подойдешь поближе — запахнут как волки».

Однако, именно теперь, в 40-е годы, Пришвин преображается в «певца природы», автора «детских миниатюр», кудесника фенологических и зоологических наблюдений, ибо не только его герой, но и он сам «ушел от самого себя в природу». Творческая биография писателя опровергает расхожую мысль критики о трансформации художественной проблематики Пришвина — от «человек и природа» до «человек и общество». Было как раз наоборот. Начав свой путь с постановки проблем о взаимоотношении «естественного» и «цивилизованного» человека в обществе («В краю непуганных птиц», «Адам и Ева», «Черный араб»), Пришвин, считая, что «революция должна меня (художника) освободить от политики, иначе она не революция», в 20-е годы «слушал правду, которая стучалась... независимо от горячего текущего времени»; в 30-е и 40-е годы он решил писать «о душах живых, а не мертвых», ибо «у нас люди вообще не живут, а появляются и исчезают... все оттого, что у нас нет нравственной связи с прошлым». Убивая свой дух «в запойном труде», Пришвин, чей талант, несомненно, вышел «из чувства свободы», был вынужден «затаиться»: «Подальше от Фени — и тем греха мене».

В 1941-1953 годах Пришвин работал над многими произведениями: «Корабельная чаша», «Повесть нашего времени», «Осударева дорога», «Глаза земли». Однако, все они появились в печати посмертно. Доживи Пришвин до Хрущевской оттепели, возможно, все эти «рассказы-сказки», «повести-сказки», «сказки-были», «романы-сказки» он переделал бы. И хотя в 1945 году

Пришвин был премирован за «Кладовую солнца» и одарен «Избранными произведениями в двух томах» (1951 году) и «Весной света» (1953 г.), он прекрасно понимал причину своего «совершенного посрамления»: «Если закончить писать, как большие писатели, и ограничиться воспроизведением природы для детей маленьких и больших, то падение мое остановится. А падение мое в том, что я начинаю видеть в нашей жизни все больше и больше дурного».

Смерть Сталина наметила новый поворот в творчестве Пришвина: «Весной света» кончилось это дело — портить свои вещи для удовлетворения школьников. Надо приниматься за «Кашееву цепь», утопить эту книгу в автобиографии».

Два новых «звена» Кашеевой цепи («Искусство как поведение» и «Как я стал писателем») должны были объяснить, почему «дело не вышло» не только в «Осударевой дороге», но и в отыскании «своего путика» в «ледниковый период» эпохи: «Моя задача была утвердить рождение нового, лучшего мира. Но в человеческом плане новое рождается для спасения старого, а не для его потоптания».

Советская литературная критика, уделяя основное место «философии природы» в творчестве Пришвина, отрывала «сочиненное «я» от реально-исторической почвы литературного процесса. Не случайно собрания сочинений Пришвина издавались по тематическому, а не по хронологическому принципу. Так было удобнее и безопаснее. Но понимая, почему «возрожден» Антей, прикасаясь к земле», необходимо дать справедливую оценку писательскому подвигу Пришвина: «Звери третьей эпохи земли не изменили родине, когда она оледенела».

Вот почему среди многочисленных замыслов 30-40 годов особое место занимает «Дневник писателя», который Пришвин вел в течение многих лет и откуда черпал «лишние мысли» для своих миниатюр. Именно в дневниковых записях Пришвина раскрывается перед нами автор остросовременный и трагический. Приведем несколько примеров. 9 октября 1952 года Пришвин записывал: «XIX съезд проходит гладко, победоносно... Тревога в одном, что личностью предстает единственно Сталин». В разгар кампании против «безродных космополитов» Пришвин отмечает (21 ноября 1952 года): «Мы стояли все в очереди у

кассы метро. Кто-то там впереди к чему-то сказал своему соседу: «Это все временно! Не обращай никакого внимания, все это пройдет». Сосед ответил ему: «Мы сами все временные».

Шовинистическое восхваление всего русского вызвало у Пришвина, которому в патриотизме нельзя было отказать, пророческое замечание накануне Корейской войны: «Путь веры в миссию своей страны кончается непременно войной». Под фанфары 70-летнего юбилея Сталина Пришвин записывает свой афоризм: «Настоящее зло — хромое и ходит всегда на костылях добродетели».

Конечно, «Дневник писателя» не является собственно художественным произведением. Однако он — документальное свидетельство того, как трагически сложилась судьба писателя. Одаренный ярким талантом бытописателя и острым чувством «родственного внимания» не только к природе, но и к истории, Пришвин «звериным чутьем» ощутил «потопание» личности, эволюция его творчества в «мелкую философию» стала необратимой. Со всей определенностью можно сказать, что к списку многочисленных жертв советской «кащеевой цепи» следует отнести и творчество «старейшины советской литературы», дожившего до 80 лет и умершего «в своей постели», писателя Пришвина. Неоцененный историками литературы и «замысленный» критиками, М. Пришвин еще ждет своего подлинного исследователя, который, сквозь пелену фенологии, зверолубия и растениезнания, разглядит почерк мастера, никогда не ковавшего «железо на руки», никогда не вешавшего «замок на уста».

Вспоминая предсмертную запись Пришвина: «Боже мой, как нелегко жилось, как удалось уцелеть!» — мы поймем, почему старший друг и учитель писателя, А. М. Ремизов, в далеком Париже пометил в своем дневнике от 8 ноября 1957 г.: «Пришвин никак не мог соединиться с Блоком... Алексей Толстой был так далек и добродушен. Дурковатый, одаренный огромным талантом, Толстой мог изобразить и Прекрасную Даму. И не понадобилось... Я их всех вижу. Замятин, Шишков, Добронравов, Пришвин (Ремизов считал их своими учениками — С. Ш.)... А все мы какие-то ублюдки. Самыми трагичными оказались Замятин и Пришвин... Мечтать о Прекрасной Даме, а отводить душу на пении птиц». Но выхода не было. Более того,

когда эпоха потребовала «медицинского свидетельства» о происхождении, «страстная жажда жизни» заставила Пришвина пойти на риск, горько жалуясь читателю: «Сколько раз потом в жизни своей судьбу... к себе примеривал и загадывал, бежать мне от этой матери, называемой родиной, или терпеть все ее медицинские свидетельства безо всякой надежды на личное счастье...» И, как герой «Жень-Шень», Пришвин мог в конце жизни пожалеть, что ухватился «за копытца «полезного действия» («Я бросил книгу и стал восторгаться радостью жизни в природе через охоту»), которое одарило странным счастьем *сопричастности к гибели*: «И вот скажу теперь, что был в лесу добрый медведь, и его полюбили, и когда он попал ногой в медвежий капкан и заревел, то вместе с ним и весь лес заревел. Мало счастья было медведю, что попал он в капкан и заревел, но все-таки, правда же, много легче. Даже скажем и так: большое счастье досталось медведю, что, прощаясь с ним, как с другом, весь лес заревел. Вот мне и кажется, будто я, как весь русский человек, этим счастьем силен!»

Иерусалим

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ Н. С. ГУМИЛЕВА?

На вернисаже выставки "Салон 1909 года" будущему редактору "Аполлона" С. Маковскому кем-то из петербургских писателей был представлен Николай Степанович Гумилев. Почти немедленно между двумя поэтами завязался оживленный разговор, и Маковский поделился своими планами создания нового журнала. Гумилев уже знал собрания, имевшем место в ноябре 1908 г. На нем Маковский совещался с несколькими людьми из петербургских художественно-литературных кругов об учреждении нового "эстетического" ежемесячника. Гумилев на этом собрании не присутствовал, но в это время он и сам подумывал об организации поэтического журнала.

Первую попытку он предпринял еще в 1906 г., когда жил в Париже, посещал Сорбонну, ходил по музеям, встречался с русской литературной колонией, внимательно читал "Весы" и переписывался с Брюсовым. Наконец, был создан им маленький журнальчик "Сириус", издание которого, впрочем, остановлено было на третьем номере в 1907 г. Вернувшись в 1908 г. в Царское Село, Гумилев не оставил мысли о *своем* журнале. Случай представился через полгода. Совместно с Алексеем Толстым Гумилев с энтузиазмом принялся за подготовку чисто поэтического журнала "Остров". Когда в начале нового года Гумилев познакомился на вернисаже с Маковским, Гумилеву все еще не было ясно, как устроится финансовая сторона его нового начинания. Не мог он и предвидеть, что второй выпуск "Острова" окажется последним.

Встреча с Маковским оказалась providенциальной. Маковский, не познакомившись с Гумилевым, наверняка создал бы

свой журнал, но он не был бы тем "Аполлоном", который вошел в историю как едва ли не самое культурное периодическое издание своего времени. В хлопотах по устройству ежемесячника Гумилев принимал активнейшее участие, а главное, представил Маковского Иннокентию Анненскому и перезнакомил с кругом писателей, которые вскоре составили так называемую "молодую редакцию" "Аполлона". Вспоминая это время, Маковский писал: "Гумилев был наиболее энергичным и организующим помощником".¹

Издание первого номера было приурочено к осени — началу литературного сезона. Журнал вышел в октябре и включал ряд материалов программного характера. Первоначально в "Аполлоне" было восемь отделов. Наряду с литературным, художественным, музыкальным, театральным и т.д., был отдел "Пчелы и осы" "Аполлона". В дальнейшем эта рубрика встречается в "Аполлоне" весьма редко. Но в первом номере в этом отделе "Пчел и ос" была помещена, поистине, программная статья под заголовком "Скучный разговор", и тут же следовал перечень участников этого разговора: Профессор, Философ, Журналист, Художник, Любитель литературы, Молодой композитор, Скептическая дама, Поэт. Статья представляет собою не спор, как можно было бы ожидать из перечня собеседников, а скорее свод высказываний каждого из участников диалога — диалога в платоновском смысле слова.

Темой беседы избраны были ипостаси Аполлона, чем можно также объяснить и архаизованный жанр — под античный диалог. Не говоря прямо о только что народившемся журнале, эта статья, фактически, являлась обсуждением его направления. Странно, что статья эта до сих пор не привлекла ничего пристального внимания, хотя она была программным материалом в программном номере ежемесячника, который затем на протяжении восьми лет был органом русского художественного и литературного модернизма. Но, помимо всего, "Скучный разговор" интригует еще и тем, что помещен он без авторской подписи. Конечно, самый прямой путь атрибуции — это поиски в архи-

1. С. Маковский. "Николай Гумилев по личным воспоминаниям". — *Новый Журнал*, No. 77, Нью-Йорк, 1964, стр. 164.

вах. Но архив "Аполлона" погиб в первый год революции. Что же касается самой статьи, то многое в ней заставляет думать, что она принадлежит перу Гумилева. Можно сказать даже, что сама анонимность статьи понуждает нас предположить его авторство. Дело, разумеется, не в том, что Гумилев не раз печатал свои рецензии без подписи или подписывался инициалами либо псевдонимами. В первом номере "Аполлона", где помещен этот диалог, Гумилева и без того много. Здесь напечатано его первое аполлоновское "Письмо о русской поэзии", здесь же публикуются его "Капитаны" и, в дополнение ко всему, в том же номере встречаем рецензию Валентина Иннокентиевича Кривича на помещенную в "Весах" новеллу Гумилева "Скрипка Страдивариуса". Первый номер "Аполлона", по мысли редакции, должен был предстать перед публикой настолько безупречным, насколько вообще этого можно было добиться. Кроме того, материалы под рубрикой "Пчелы и осы" и впредь печатались либо без подписи, либо подписанные псевдонимами. В иных случаях за участниками этого написанного не без ироничности диалога прослеживаются реальные прототипы. Чувствуется, что автор "Скучного разговора" — ближайший участник бесед, имевших место при создании журнала и выработке его программы. Сама статья написана не только для читателя вообще, но и для внутреннего потребления, т.е. для сравнительно узкого круга "посвященных", способных распознать прототипы собеседников по их излюбленным словечкам и фразеологии.

Читая "Скучный разговор", невольно замечаешь, что он испещрен характернейшими словами из словаря самого Гумилева, — причем в устах более чем одного участника диалога. Вот примеры этих слов: мастерство, мастерская, рвение ученика, ученичество, умение работать, качество работы, искусство как веселое ремесло, открытия, завоевания и, наконец, наиболее гумилевское выражение — "искусство конквистадоров". Об имитации словаря Гумилева кем-либо из современников было бы бессмысленно говорить. Гумилеву в это время только двадцать три года, он — автор лишь двух стихотворных сборников, о которых в периодике 1906-1909 гг. появилось считанное число рецензий. Он еще не опубликовал "Жемчугов", принесших ему относительную известность. Словом, имя Гумилева к осени 1909 г. могло что-то

сказать лишь сравнительно узкому кругу людей. Еще даже не приблизилось время, когда его окружили ученики, последователи, подражатели. Он сам еще был учеником Брюсова и Анненского и в письмах Брюсову постоянно писал о себе как о его ученике. Итак, вопрос об имитации словаря Гумилева попросту неуместен.

Но вернемся к этому характерному словарю. Об "искусстве конквистадоров" говорит в "Скучном разговоре" Философ. Первый сборник Гумилева назван "Путь конквистадоров". Эта книга открывается знаменитой строкой "Я — конквистадор в панцире железном". Следующая книга — "Романтические цветы" (1908 г.) открывается новым вариантом того же стихотворения. В первую строку второй книги опять вошел "конквистадор":

Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду...

Словом, искусство не только путь конквистадоров, но и *веселый* путь — "веселое ремесло", как сказано в "Скучном разговоре". В том же октябрьском номере "Аполлона" Гумилев писал о поэзии Бориса Садовского: "В роли конквистадоров, завоевателей, наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами, Борис Садовской, конечно, не годится". В вышедшие в 1910 г. "Жемчуга" Гумилев включил стихотворение "Старый конквистадор", а в рецензии на этот сборник Вячеслав Иванов назвал Гумилева "конквистадором "изысканных" Голконд"². А вот что писал Брюсов Гумилеву в январе 1908 г.: "Может быть, конквистадоры Вашей души еще не завоевали стран и городов, но теперь они вооружены для завоевания"³. Конквистадор в контексте поэзии Серебряного века есть слово, которое немедленно ассоциируется с творчеством Гумилева. По той же причине единственная написанная о Гумилеве повесть названа "В панцире железном", и автор повести Г. Месняев предпослал ей эпиграф "Я — конквистадор в панцире железном"⁴.

2. Вяч. Иванов. "Письма о русской поэзии" — *Аполлон*, 7, 1910.

3. Н. Гумилев. Незданное, УМСА-Press, Париж, 1980, стр. 80

4. *Возрождение*, No 118, Париж, октябрь 1961 и след.

Сколь характерно это слово для Гумилева-поэта, столь же для Гумилева-критика определяющими являются слова "ученик", "ученичество", "подмастерье", "мастер", "учитель". Сама структура "Цеха поэтов" связана с этим кругом понятий. В письмах к Брюсову Гумилев постоянно обращается к нему как к своему учителю, а себя называет его учеником. "Жемчуга" открываются такими словами: "Посвящается моему учителю Валерию Брюсову". К теме ученичества Гумилев возвращается многократно. "Близость по духу еще не есть ученичество", — пишет он в одной из статей⁵. Говоря о подражательности стихов А. Скалдина, он подводит итог своему личному опыту: "Настоящий ученик всегда приходит к учителю со своим содержанием, в его видимой покорности всегда виден задор будущего освобождения"⁶. На основании своего опыта ученичества у Брюсова Гумилев никогда не использовал слова "ученик" для высказывания негативного отношения к чьим-либо стихам. В газете "Речь" (1908 г.) он пишет о Юрии Верховском: "Он — ученик, а не творец, но, быть может, именно в этом своеобразная прелесть его книги". Если ученик умеет учиться, ученичество — и плодотворный, и творческий процесс. Говоря о поэзии Виктора Гофмана в статье "Поэзия в "Весах", он отмечает недостатки, основанные на том, что "ученичество не пошло дальше заимствования". Поэтому на портике, с упоминания которого начинается "Скучный разговор", написаны слова: "Аполлон улыбается не гордости лауреата, а рвению ученика". Из всех петербургских поэтов той поры вероятнее всего слова эти произнести мог именно Гумилев.

В статьях Гумилева можно проследить употребление и других ключевых слов, встречающихся в "Скучном разговоре". "Важно одно, — говорит Журналист в этом диалоге, — вперед, к открытиям, к завоеваниям, к небу, к солнцу!..." В другом месте слово "завоевание" вложено в уста Журналиста еще раз. В своей статье "Поэзия Бодлера" Гумилев так характеризует французского поэта: к поэзии он относился "как исследователь, вошел в нее

5. Н. Гумилев. *Собр. соч.*, Вашингтон, 1968, т. 4, стр. 329.

6. *Там же*, стр. 315.

как завоеватель".⁷ О Бодлере в "Скучном разговоре" сказаны не совсем понятные слова: "Все дело в том, чтобы собирались под его колоннадой (портика — *В.К.*) поэты, художники, музыканты, философы, а над ними проходили облака, напоминая о Сократе и Бодлере". Нужное пояснение находим в статье Гумилева "Поэзия Бодлера" — она, т.е. эта поэзия, "подобна закатному небу, где борьба света и тени порождает на мгновение храмы и башни нашей истинной родины". Облака, проходящие над портиком Аполлона (в "Скучном разговоре"), должны напоминать борьбу света и тени, храмы и башни поэзии Бодлера.

Не один лишь словарь этого диалога, но и определенный круг идей и героев заставляет думать об авторстве Гумилева. Восемь участников этого разговора — скорее маски, чем живые лица, но за ними угадываются реальные прототипы. Хорошо сказал Брюсов о литературной манере Гумилева этого периода: он "предпочитает прикрываться маской того или иного героя"⁸. Настоящий диалог открывается словами Профессора, в которых угадываются мысли и интонации Анненского. Из всех участников "Аполлона" для Гумилева Анненский был наиболее значительной фигурой и как человек, и как поэт. Пафос высказываний Профессора соответствует строкам в стихотворении Гумилева "Памяти Анненского":

К таким неожиданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей...

Речь Профессора отличается некой приподнятостью — именно тем свойством, за которое первый номер "Аполлона" высмеивали в современной периодике. В жизни Анненский был несколько ироничнее, чтобы говорить в таком приподнято-афористическом стиле, каким наделил Профессора 23-летний автор этого диалога. По числу реплик (всего двенадцать) Профессор на втором месте после Любителя литературы — маски, за которой угадывается сам Гумилев. В словах Профессора чаще, чем у других, слышны живые разговорные интонации. В мыслях Профессора

7. Н. Гумилев. *Неизданное и несобранное*. УМКА-Press, Париж, 1986, стр. 77.

8. *Весы*, No 3, 1908, Москва, стр. 78.

можно узнать идеи Анненского: бог Аполлон без жрецов, скептицизм по отношению к устоявшейся литературной иерархии, ирония не только как литературный прием, но скорее как часть мировоззрения, а также — модернизация античного мифа. В одном случае можно текстуально показать сходство между высказываниями Профессора и словами Анненского. Сравним:

Профессор: "Декадентством я называю внесение в литературу не принадлежащего ей элемента, случайного, личного, чисто формального или интимного. Технические соревнования, обмен акростихами, выдумывание новых рифм только для щегольства..."

Анненский (в том же номере "Аполлона", где напечатан "Скучный разговор"): "Поэтическим декадентством можно называть введение в общий литературный обиход разнообразных изощрений в технике стихотворства, которые не имеют ближайшего отношения к целям поэзии... Приходится видеть, как меняются между собой то акростихами, то печатными надписями вроде Другу и Брату крупные и серьезные поэты... Не декадентство ли самые эти состязания?" И далее: "Кто возьмется положить грань между работой художника и прихотью словесного эквилибриста, показывающего как можно играть рифмами длиною в пять-шесть слогов?"

Сходство между словами Профессора и Анненского разительное. И через две строки в диалоге Профессор, совсем как Анненский в жизни, говорит с примирительной интонацией: "Да ведь декадентство и не грех". С той же интонацией Профессор возражает Скептической даме относительно ее возмущения "вечным ученичеством": "Что делать! Право мечтать о мастерстве приобретается только в звании подмастерья... Надо, чтобы так было". Совсем как Профессор в диалоге, Анненский различал красивое и прекрасное и все же сближал эти два понятия. В рецензии на "Романтические цветы" ("Речь", 15 декабря 1908 г.) Анненский писал: "Красивое, право, не так-то уж далеко от прекрасного".

Реальный прототип слегка просвечивает и в Скептической даме. В конце мая 1909 г. Гумилев вместе с Лидией Дмитриевой, будущей Черубиной де Габриак, едет в Коктебель к Волошину. Вспоминая о лете 1909 г., Волошин писал: "Мы много думали

летом о создании журнала... стихи писались, рассчитывая на него⁹. Рассчитывая на создававшийся "Аполлон", Гумилев писал своих знаменитых "Капитанов", помещенных в том же номере, что и "Скучный разговор". Маковский поручил Гумилеву вести в журнале "Письма о русской поэзии", но переполненному энтузиазмом Гумилеву этих писем и "Капитанов", очевидно, казалось мало для первого номера, и он обдумывает программную статью. Но вернемся к прототипу Скептической дамы. В 1908 г. Дмитриева кончила Петербургский женский педагогический институт и в 1908-1909-ом преподавала в женской гимназии, живя на одиннадцать рублей в месяц. Отсюда, очевидно, и происходит реплика в "Скучном разговоре": "Вечное ученичество! А нам, бедным, чтение классных тетрадок". Во втором номере "Аполлона" Волошин поместил статью "Гороскоп Черубины де Габриак", в которой подчеркивал "удивительное" мастерство поэтессы. Двухлетняя Лидия Дмитриева уже тогда считала себя зрелым мастером. Отсюда возникает ее возмущение "вечным ученичеством" — слова, которые, видимо, не раз слышал от нее Гумилев в ответ на его собственные соображения о необходимости сознательного и упорного ученичества. Лидия Дмитриева видна и в другой реплике Скептической дамы: "Тайны с большой буквы?" Тайна — движущая сила поэзии Черубины де Габриак. Дело не только в мистификаторстве, связанном в истории литературы с этим именем. Дмитриева считала себя адептом оккультизма, увлекалась эзотерическими учениями, без мистицизма не видела смысла своей жизни, и в очень молодом возрасте она стала одним из руководителей Петербургского антропософского общества. Отношения с Дмитриевой нашли в этом диалоге некоторое отражение в виде обмена острыми репликами между Скептической дамой и Любителем литературы. Скептицизм Дмитриевой и обычное стремление противоречить были из тех черт, которые привлекали и интриговали влюбленного в нее Гумилева.

Скептицизм, по мнению Гумилева, столь же характерен для двадцатого века, как экстаичность для эпохи ранних христиан.

9. М. Волошин. "Воспоминания о Черубине де Габриак", — *Новый Журнал*, No 151, Нью-Йорк, 1983, стр. 191.

Скептическая дама произносит свои наивные реплики с неколебимой серьезностью, что также находится в соответствии с характером Дмитриевой, насколько это известно из мемуарной литературы. Вспоминая о 1909 году, т.е. о времени написания "Скучного разговора", Дмитриева говорит о себе в "Исповеди": "Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась".

Примечательно, что возражая Скептической даме, Журналист видит в ней последовательницу мистических учений: "Миф получает в глазах мистиков особенно пророческий смысл." В Журналисте просматривается облик С.К. Маковского. Первый номер "Аполлона" открывался "Вступлением", подписанным редактором и выражал в изобилии те же мысли, что и Журналист в "Скучном разговоре". Во "Вступлении" в особенности подчеркивались следующие соображения. Лик Аполлона не греческий, а современный; цель журнала — эстетическая; искание новой культуры, нового человека, новой правды; строгость стиля и высокий уровень вкуса; искания должны осуществляться за пределами лженоваторства. Те же самые мысли находим и в "Скучном разговоре". Журналист здесь настаивает на строгом стиле и упрекает в отсутствии вкуса современную журналистику, а также поддерживает эстетизм. Лик "Аполлона" должен стать современным: "оставим лучше всех богов Греции", ибо "умирает старый мир, и в муках рождается новый". Относительно декадентства и лжемодернизма много говорится в этом диалоге. Декадентство в некоторой степени защищается Любителем литературы, но именно в некоторой — примерно так же, как говорит о декадентстве Профессор: "Да ведь декадентство и не грех". Для Любителя литературы "немного декадентства — необходимая приправа", "как яд горького миндаля" в руках опытного повара. Образ горького миндаля встречается в прозе Гумилева — например, о "страшном запахе горького миндаля" говорится в его рассказе "Путешествие в страну эфира". В ноябрьском номере "Аполлона" за 1909 г. использован образ, подобный тому, что мы слышим от Любителя литературы: "Оказался ли достаточным опыт... символизма, — писал Гумилев в "Аполлоне" No 2, — или наш организм не воспринял *спасительного яда декадентства?*". В

рецензиях Гумилева встречаются сходные определения декадентства, но вообще в его критике тех лет декадентство — это "частный случай искусства". Противоположный путь — ренессанс. И это то, что людям двадцатого века, "героического", по определению Гумилева, более всего надо. "Мы стосковались по строгому искусству", — пишет он в газете "Речь" в 1908 г. Модернизм, безусловно, приветствуется Гумилевым, но и модернист должен быть писателем-продолжателем, писателем с длинной родословной. Хранитель традиций — именно Аполлон, а не Дионис. В письме Брюсову от 26. 2. 1909 г. он пишет: "Я три раза виделся с "Царицей Савской" (так Вы однажды назвали Вячеслава Иванова), но в дионисийскую ересь не совратился". "Не будем отклоняться к Дионису", — говорит он в "Скучном разговоре" устами Профессора.

Реплика Любителя литературы "искусство остается искусством" есть формулировка главного содержания статьи Гумилева "Жизнь стиха", появившейся в "Аполлоне" в 1910 г. Обе формулы (искусство для искусства и искусство для жизни) являются крайностями. "Я подразумеваю, — писал Гумилев, — право каждого явления быть самостоятельным, не нуждаться в оправдании своего бытия".¹⁰ О том же говорит в "Скучном разговоре" Любитель литературы: "Ах, истина! Будем лучше говорить об "истинах". Концепция самоценности каждого явления, в конце концов, привела к акмеизму. Из этого плюрализма развился бунт против монистического и одновременно (как это ни странно) дуалистического символизма. В том же своем высказывании Любитель литературы добавляет: "Разговаривать — значит обмениваться непохожими мыслями". Подобная же манера диалога представлена в прозе Гумилева. Лучший образец подобного диалога дан в рассказе "Вверх по Нилу" (1907 г.). С. Маковский писал о Гумилеве, что он никогда не пояснял своих мыслей, "а изрекал их и спорил как будто для того, чтобы озадачить собеседника"¹¹. Подобным же образом ведет разговор Любитель литературы и самые последние слова диалога оставляет именно за собой: спорить — это значит "оскорблять свою

10. Н. Гумилев. *Собр. соч.*, Вашингтон, 1968, т. 4, стр. 158.

11. С. Маковский. "На Парнасе Серебряного века", стр. 199.

мысль, навязывая ее другим. Четко (любимое гумилевское слово — В. К.) выразить точку зрения — можем ли мы требовать большего от человека?...”

Другие участники “Скучного разговора” не могут быть идентифицированы в смысле их реальных прототипов с той же уверенностью. Молодой композитор высказывается только один раз, причем чисто в символистском роде — утверждая приоритет музыки перед всеми искусствами, а также симфоничность культуры в духе “соборности” Вяч. Иванова. К тому же Молодой композитор — единственный из участников диалога, кто говорит о “символе” Аполлона, тогда как другие говорят о его “лице”. Заметим, что именно о *лицах* Аполлона, а не о символе писал во “Вступлении” к первому номеру журнала его редактор. Композитору отвечает Художник. Он не вступает в спор, но интерпретирует “музыкальную” идею композитора как пластическую: новый человек проникнется религиозной любовью к человеческому телу и “возродит прекрасный танец-молитву перед ковчегом бога”. По своим мыслям это высказывание близко идеям, содержащимся в статье А. Бенуа “В ожидании гимна Аполлону”, напечатанной в том же номере журнала.

Вряд ли может быть идентифицирован и Поэт; ясно только, что он разделяет с Вяч. Ивановым теургический взгляд на искусство. Поэзия — это тайнодействие. Поэт, как и Профессор, против декадентства, но понимает его иначе. Декадентство для него — рынок, а отнюдь не случайный элемент формы. Единственно, что объединяет Поэта с Профессором, Журналистом и Любителем литературы — это подчеркивание важности мастерства.

Сложнее других образ Философа. С одной стороны, он противоречит всем, видя в Аполлоне “лик смерти”. С другой же стороны, он является выразителем мыслей Анненского и самого Гумилева. Именно Философ говорит, что “декадентство — это искусство конквистадоров”, употребляя ключевое слово Гумилева. Другое типичное слово в его устах — “равнодействующая”. О равнодействующей двух полярных сил в эстетике любил говорить Гумилев в своих статьях. Одной из характеристик утверждавшегося им акмеизма было равнодействие или равновесие частей художественного произведения. Философ также

подчеркивает мужское, мужественное начало в искусстве, т.е. то, что вообще характерно для мировоззрения самого Гумилева. В качестве иллюстрации мужского начала Философ вспоминает мифологического Персея, т.е. сюжет, который привлекал Гумилева и других акмеистов. Кроме того, Философ стремится показать разницу между понятиями "красивого" и "прекрасного" и в этом случае пользуется языком Анненского. "Красивое, право, не так уж далеко от прекрасного", — писал Анненский. И в этом утверждении — бездна, отделяющая взгляды его и Гумилева, а затем и акмеистов от взглядов Вяч. Иванова и Блока.

Несколько слов следует сказать о стиле "Скучного разговора". Стиль этот может быть определен словами Анненского, сказанными им о Гумилеве: "причесано все как следует и с пробором"¹². Эти слова написаны им летом 1909 г., примерно в то же время, когда писался "Скучный разговор". В рецензии на "Романтические цветы" Анненский говорит о Гумилеве: "Он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты". А в варианте этой рецензии Анненский писал: "это хорошо, что он не дает словам ни расплываться, ни подвывать". Определением стилистического достоинства для Гумилева были слова, сказанные им же о Верлене: "Верлен был свободно-изящен". Идеал этот не вполне достигнут в "Скучном разговоре", но чувствуется стремление к нему. Характерно, что в этом диалоге есть ирония, но нет юмора, хотя поводов для юмористических реплик достаточно. Мемуаристы отмечали, что Гумилеву часто не хватало юмора, для этого он был слишком торжественным и прямолинейным. Другое дело ирония — но не та, которая вызывает улыбку. Эта несколько неповоротливая афористичность стиля вообще напоминает гумилевскую раннюю прозу, начиная с юношеского рассказа "Карты", напечатанного в парижском "Сириусе". Сгущая краски, Вяч. Иванов сказал о стиле Гумилева: "напыщенно важная однозвучность". Далее он развивает свое наблюдение: отсутствие быстроты, непосредственности, живой подвижности, живой реакции на многообразие живой жизни"¹². Нечто в этом наблюдении уловлено глубоко и точно, но Вяч. Иванов в своей неприязни к Гумилеву и его стилю явно преуве-

12. Вяч. Иванов. Письма о русской поэзии. — *Аполлон*, 7, 1910.

личил. Не менее проницательный Анненский писал о стиле Гумилева: "иногда достигает точности почти французской".¹³ О том же позднее писал М. Кузмин: "сильная сторона гумилевского стиля — это крепкая форма"¹⁴. Еще один штрих к пониманию стиля "Скучного разговора". В период основания "Аполлона" эстет Маковский предлагал, чтобы сотрудники являлись на редакционные заседания непременно в смокингах. Что-то от этого "смокинга" можно почувствовать и в стиле "Скучного разговора", специально написанного для первого номера самого "эстетического" журнала в России.

Как поэт и критик Гумилев всю жизнь находился в развитии. Через непродолжительное время после открытия "Аполлона" стиль его рецензий становится все более гибким и совершенным. Но в основных своих свойствах гумилевская проза менялась крайне медленно. Вопросу выработки стиля Гумилев уделяет внимание не только в этом диалоге, но и в других своих статьях. "В стиле Бог показывается из своего творения, — писал он, — "поэт дает самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, о форме своих рук". "Скучный разговор" написан стилистом и поэтому позволяет догадаться и "о цвете глаз, и о форме рук", и об "имени автора" этого замечательного диалога.

В заключение приведем еще несколько обоснований нашей точки зрения на авторство "Скучного разговора". В статье "Жизнь стиха" (опубликована в 1910 г.) привлекают внимание слова Гумилева: "Этого хочет Аполлон, немного страшный, жестокий и безумно красивый бог". О тех же свойствах Аполлона упоминается и в "Скучном разговоре".

В рецензии на стихи Эллиса Гумилев писал о мистической и оккультной философии как о "безводной пустыне, где так редки цветущие оазисы". Подобное же отношение к мистицизму видим и в нашем диалоге. Отметим также совпадение взглядов на природу мифа в "Скучном разговоре" и в рецензии на "Иву" С. Городецкого. "Миф — это самодовлеющий образ, — сказано в этой рецензии, — имеющий свое имя, развивающийся при внут-

13. *Аполлон*, 2, 1909, стр. 25.

14. *Аполлон*, 1, 1913, стр. 162.

реннем соответствии с самим собой". В "Скучном разговоре" миф — это нечто вечное, элементарное, заложенное в самой основе мысли. В рецензии на "Фамиру-кифареда" Анненского Гумилев еще раз уточняет свое понимание и говорит о мифе как о "извечно существующем положении... связанном с открывшей его эпохой очень поверхностно". Словом, речь идет о стремлении модернизировать миф, чтобы ввести его в "современный художественный обиход", т.е. именно о том подходе, который нам уже известен из "Скучного разговора".

Можно найти немало и других совпадений между этой статьей и рецензиями Гумилева или отзывами современников о нем. В газете "Речь" в 1908 г. Гумилев определял свою эпоху как "время десяти тысяч лет". В "Скучном разговоре" об этой эпохе говорится: "в наши дни смятенного хаоса". В той же газете Гумилев писал о "великом наплыве в литературу людей безграмотных". О безграмотности, угнездившейся в современной прозе, говорит в "Скучном разговоре" Журналист. Искусство как ремесло — это идея, перенятая Гумилевым у Брюсова. Но Гумилев был сторонником понимания искусства как "веселого ремесла". Именно это словосочетание находим мы в "Скучном разговоре". Некоторое пояснение встречается нам в рецензии Вяч. Иванова в N. 7 "Аполлона" за 1910 г.: "Гумилев подчас хмелеет мечтой *веселее* и беспечнее, чем Брюсов". В "Скучном разговоре" речь идет, в частности, о том, что тайна некрасива и должна подчиниться иронии. Вяч. Иванов, словно определенно зная, что "Скучный разговор" был написан Гумилевым, писал с иронией в той же рецензии: "или в самом деле прав глупый попугай с Антильских островов, который... пришел к философическому заключению, что тайна — некрасива". Из числа возможных совпадений мы старались привести здесь наиболее очевидные. И после всех этих сопоставлений, разумеется, нельзя не задать вопрос: существовал ли в кругу аполлоновцев другой писатель, кто бы так решительно совпадал с Гумилевым во взглядах, в стиле, в словаре, в знакомстве с определенными реалиями? Нам представляется, что другого такого писателя в России в 1909 году не было.

Вадим Крейд

ПЧЕЛЫ И ОСЫ "АПОЛЛОНА"*

[СКУЧНЫЙ РАЗГОВОР: ПРОФЕССОР, ФИЛОСОФ, ЖУРНАЛИСТ, ХУДОЖНИК, ЛЮБИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ, МОЛОДОЙ КОМПОЗИТОР, СКЕПТИЧЕСКАЯ ДАМА, ПОЭТ]

Проф. (немного торжественно). *Итак, вы согласны? У этого Аполлона нет жрецов и не будет святилища. С него довольно неба и смертных. Здесь именем бога освящается только портик, где просветы открыты всем лучам, и еще — мастерские, куда пусть свободно входит всякий, кто желает и умеет работать на Аполлона... Иерархия? Да, но она будет определяться мнением мастерской о качестве работы, и только. Далеко с портала четкие видны мне слова: "Аполлон улыбается не гордости лауреата, а рвению ученика".*

Скепт. дама. *Вечное ученичество! А нам, бедным, чтение классных тетрадок.*

Проф. *Что делать! Право мечтать о мастерстве приобретается только в звании подмастерья... Надо, чтобы так было.*

Журн. *Особенно в России. Слишком уж привыкли мы верить в, "наитие свыше", забывая, что искусство прежде всего, — вдохновенное и веселое ремесло.*

Любит. литер. *Да, для русского писателя перо все еще — только орудие освобождения от муки собственных недоумений: — потому, вероятно, что пытка страдающего читателя — наиболее доступное ему утешение.*

Поэт. *Но за последние годы мастерство стиха, именно мастерство...*

Журн. *Я говорю о прозе. У современного прозаика понятие о стиле, обыкновенно, совпадает с понятием грамотности.*

Любит. литер. *К счастью для него, русская публика еще плохо отличает безграмотность от "отсутствия стиля".*

Художн. *Меня заинтересовал "стиль" того портика, о котором сказал профессор. Портик, никуда не ведущий: похоже на триумфальную арку.*

*Аполлон, N 1, 1909.

Проф. Нет. Это очень широкий портик: — для прогулок "Афинской школы". Все дело в том, чтобы собирались под его колоннадой поэты, художники, музыканты, философы, а над ними проходили облака, напоминая о Сократе и Бодлере...

Скепт. дама. Как хорошо! Что-то вроде павильона, на острове, в лесу...

Любит. литер. Ну, я предпочел бы обстановку менее идиллическую, зато более комфортабельную.

Поэт. А где же в таком светском портике приют для молитвы и тайны?

Скепт. дама. Тайны с большой буквы?

Проф. Хотя бы. Но ей довольно места на острие пера. Да как бы и там еще ей не пришлось иногда покориться иронии, — тайне.

Поэт. Я поднимаю голос в защиту тайны. Тайны и тайнодействия. Нужны молитвы. Боги сходят на землю для того, чтобы их распинали и молились.

Любит. литер. Искусство остается искусством...

Проф. Не будем отклоняться к Дионису...

Филос. Аполлон и Дионис неразделимы. Нельзя мыслить об одном, забыв другого. Дельфийское жречество утвердило двуединую религию нераздельных и неслиянных богов. Вспомните, что Дельфийский Аполлон сам в течение веков насаждал культ Диониса в отдаленных землях. Корни аполлонического искусства в Дионисе. Данте проходил сквозь *selva obscura* и не написал бы "Рая", не увидав "Ада". Вот — образ жизни, лик Диониса. Но рассеивается ночь, и в утреннем тумане четко отражаются в застывшем озере металлически-чеканные лавры и золотое небо — Аполлон. Это строго-священное видение встает, однако, уже за пределами жизни. Белый лик Аполлона мне рисуется, как лик смерти. Я не вижу, куда может вести Аполлон в жизни.

Любит. литер. Вы забыли об оракулах? Аполлон вмешивался в жизнь и давал житейские советы. Обращали ли вы внимание на то, что оракулы никогда не являлись пророчествами? Они всегда ставили на пути *si, si!* — по, по! — два конечных противоречия, представляющие свободу выбрать направление.

Филос. Не спорю. Я только хотел уяснить братство

Аполлона и Диониса и то, что нельзя достичь ступеней Аполлонова храма, не пройдя через Любовь и Смерть.

Любит. литер. Если я не ошибаюсь, профессор произнес имя светлого бога, имея в виду искусство, художество — и ничего другого...

Проф. Разумеется. Для меня Аполлон — символ культуры. Бог строя, меры, ясности, которого так недостает в наши дни смятенного хаоса. Я приветствую его возвращение на землю. Человечество забыло о нем, забыло почти так же глубоко, как в средние века... хотя по-иному.

Художн. Вы правы. Мы только что пережили эпоху увлечения Дионисом. И в средние века он тоже не был забыт. Не он ли устраивал шабаши и вел экстатические танцы — истинные пляски смерти?

Позт. А легенда о св. Георгии?

Проф. Вы ошибаетесь. Св. Георгий — не Аполлон. И Дракон Георгия — водяной змей, а Пифон — чудовище хтоническое, порожденное землей. Средневековый сияющий рыцарь скорее сродни Персею, который, кстати, по одному мифу, отрубает голову Дионису.

Филос. Положим, есть ведь и другой Пифон, олицетворяющий мужское начало, и Персей...

Скепт. дама. Ах, как интересны эти филологические тонкости! Но... я плохо понимаю.

Журн. Оставим лучше филологию и тонкости, и всех богов Греции. Аполлон современный, грядущий к нам, взалкавшим его нового царства, так далек от Дельфийского бога... Неужели вы не чувствуете? Умирает старый мир, и в муках рождается новый, совсем новый, бесконечно-чуждый прошлым столетиям. С небывалой дерзостью утверждает себя человек, победивший землю и воздух. Господа, когда я вижу чудовищные города Америки или гигантские "Цеппелины", я говорю — начинается светопреставление...

Скеп. дама. Вы, кажется, ждете очень "современного" Аполлона?

Журн. Если хотите. Аполлон, парящий над современным городом, живописно-уродливым, с фабриками, машинами и skyscratchers'ами, — Аполлон, который не гнушается нашей жиз-

ню, великой, трагичной, пошлой, исковерканной, — Аполлон, раскрывающий перед новым человеком небывалый кругозор...

Художн. Эстетический.

Журн. Называйте, как хотите. Важно одно: вперед — к открытиям, к завоеваниям, к небу, к солнцу!..

Проф. (после паузы). Господа! Справедливость требует, чтобы мы хотя упомянули еще об одном лике Аполлона. Это лик малютки-борца, который еще в колыбели душит Змея...

Скепт. дама (несколько позабывшись). *Et le céleste amou-reux... L'Apollon d'Ovide?*

Проф. *On y viendra, Madame. A chacun son tour. Laissez nous d'abord casser le lutteur, s'il vous plaît.*

Журн. Если позволите... Мне кажется, что я уже ответил. Миф получает иногда в глазах мистиков особенно пророческий смысл. Но, по-моему, в мифе скорее есть нечто вечное и неизменное, как в элементарной форме, как в сокровенной основе мысли... Аполлон — не только бог культуры; это символ нашего трудного, даже болезненного, но все же неуклонного прогрессирования и, следовательно, нашей борьбы, наших завоеваний...

Филос. Прогресс состоит в передвижении норм и ценностей. Дионис разрушает нормы. Аполлон утверждает новые. Прогресс — равнодействующая обеих сил.

Художн. Как бы то ни было, Аполлон не только побеждает и торжествует, но изобретает казни для своих врагов... Судьба Марсия...

Молод. композ. Я рад, что, наконец, хотя косвенно, вспомнили о Кифареде. Музыка должна заменить остальные искусства. Все стремления к царству преображенного человечества сольются в полифонической гармонии. Духовная культура делается симфонической. В этом — символ Аполлона, предводителя Муз.

Художн. Конечно, новый человек научится снова петь и плясать. Он так преступно забыл об этом! Он снова проникнется религиозной любовью к своему телу и на площадях, в ритуальных процессиях возродит прекрасный танец-молитву перед ковчегом бога.

Любит. литер. Я боюсь только, что не будет красиво,

если, по примеру греческих эфебов, во время этих обрядов он снимет с себя одежды.

Художн. Вы шутите с очень серьезным вопросом.

Любит. литер. А разве стоит шутить с несерьезным?

Скепт. дама. Какая декадентская утопия! Модернизм...

Художн. Вот — некрасивое слово. И пожалуй, выражающее еще меньше, чем кличка декадентства.

Скепт. дама. (обращаясь к поэту). Как недавно вы, поэты, гордились этой кличкой...

Поэт. Помилуйте, декадентство — то, от чего мы открещиваемся: рынок!

Скепт. дама. А какого вы мнения, профессор?

Проф. Декадентством я называю внесение в литературу не принадлежащего ей элемента, случайного, личного, чисто-формального или интимного... Технические соревнования, обмен акrostихами, выдумывание новых рифм только для щегольства, всякие профессиональные упражнения и фокусы...

Поэт. Значит, декадентством грешили почти все великие — и Ронсар, и Эредиа, и Пушкин!?

Проф. Да ведь декадентство и не грех...

*Филос. Декадентство — искусство конквистадоров новооткрытой области ощущений и переживаний. Эксперимент может быть красив, но не прекрасен, потому что красота — не теорема, подлежащая доказательству. Форсированный вкус не есть хороший вкус. Декадентство — апофеоз метода. Метод для метода — *pop-sens*, так же, как "искусство для искусства" — формула, от которой не отвращается Аполлон, блюститель определенных граней. Результатом декадентского метода был иллюзионизм, и потому можно надеяться, что декадентство превзойдено. Аполлон убивает экспериментаторов, у которых, быть может, сам учится. Нам не нужны более вкусовые раздражения, "*à rebours*"...*

Любит. литер. Если так, тем более немного декадентства — необходимая приправа вкусного литературного блюда. Как яд горького миндаля — смертельный в руках неосторожного повара.

Скепт. дама. Должно быть поэтому я чувствую себя отравленной.

Любит. литер. Нашей скучной беседой?

Журн. Нет, примем ее, скорее, как противоядие против удивительного отсутствия вкуса в современной журналистике.

Любит. литер. Отсутствие вкуса! Это говорит так много тому, у кого он есть.

Филос. Но куда вы девааете истину?

Любит. литер. Ах, истина! Будем лучше говорить об "истинах". Разговаривать — значит обмениваться непохожими мыслями.

Проф. А спорить?

Любит. литер. Оскорблять свою мысль, навязывая ее другим. Четко выразить точку зрения — можем ли мы требовать большего от человека, не посягая на его умственную благоговоспитанность? Убедить своего собеседника — разве не значит заставить его поглупеть еще на одну чужую истину?

К О Н Т И Н Е Н Т

Литературный, религиозный
и общественно-политический журнал

Главный редактор журнала — Владимир Максимов.

«Континент» — ежеквартальный журнал, объемом около 400 стр.

Цена отдельного номера — 12 ДМ (пересылка за счет заказчика).

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 40 ДМ (включая пересылку).



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

«СТАРЫЕ ГОДЫ»

А.П. Марков

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО ГОРОДСКОГО СЕКРЕТАРЯ*

В КИЗЛЯРЕ

За время моего пребывания в Царицыне я так втянулся в работу в городском управлении, что, оказавшись "за неблагонадёжность" изгнанным с должности городского секретаря, очутился на мели. Ни к какой другой работе меня не тянуло.

В это время в газете "Русские ведомости" были опубликованы объявления о конкурсах на должность городского секретаря в Барнауле и в Кизляре. Я написал городским головам, предложив себя. Ответы из того и другого города пришли быстро, и меня приглашали и в Барнаул, и в Кизляр. Я выбрал Кизляр и глубокой осенью 1913 года туда отправился. Навигация еще не кончилась. Я доехал до Астрахани по Волге, а дальше — по Каспийскому морю. Серым, унылым показалось мне море. Пароход был старенький и маленький, но море было спокойным, и мы благополучно добрались до какой-то пристани, откуда надо было ехать на лошадях в Кизляр. Собственно, никакой пристани и не было: на берегу видна была небольшая будка. Из-за мели пароход остановился далеко от берега, и трех пассажиров пересадили на подплывшую к пароходу

*См. "Н.Ж." N 165

лодку. Потащились на лодке. Но не могли доплыть и на лодке, и нас пересадили на ожидавшую большую двухколесную телегу, которая и вывезла нас на сушу.

Я увидел здесь экипаж, запряженный тройкой хороших лошадей. Ко мне подошел человек и спросил:

— Кизляр?

— Да.

Это все, что между нами было сказано. Погрузил мои чемоданы, и мы понеслись по широкой степи. Мне казалось, что Кизляр находится в предгорьях Северного Кавказа и что я увижу чудные места. Я ошибся. Мы ехали по ровной, унылой, совершенно пустынной степи. Время от времени мой кучер останавливал тройку, отходил на небольшое расстояние и совершал какие-то омовения.

По-русски он не понимал.

Не скрою, что я впал в большое уныние, которое еще больше охватило меня, когда мы въехали в город, т.е. на улицу с маленькими серыми невзрачными домишками. Центр города почти не отличался от окраины. На "главной" улице я увидел брошенный экипаж. Очевидно, он застрял на дороге, когда была грязь, да так там и остался.

Кучер лихо подкатил к небольшому унылому дому и остановил лошадей. Это была городская управа. Меня там уже ждал кизлярский городской голова.

Он встретил меня с полной доброжелательства улыбкой. На вид ему было лет сорок, говорил с заметным армянским акцентом.

— Сделаем так, — сказал он, — вас отведут сейчас в нашу гостиницу, там стряхнете с себя дорожную пыль, и милости прошу ко мне на обед. Хочу вас предупредить, что гостиница наша, собственно, не гостиница, а то, что называется постоялым двором. Так, кажется, именуют эти помещения для приезжающих.

Когда я очутился в этой "гостинице", то убедился в справедливости слов головы. Она походила на барак, разделенный на клетки.

Отправился к голове. Что меня удивило в его доме, это множество мягких ковров — они покрывали полы повсюду. Но еще больше поразило то, что и в кабинете головы, и в гостиной

было много шкафов с книгами, а на круглом столе в столовой лежали новые номера выходивших в те времена ежемесячных журналов.

В доме полная тишина. Обед подавал нам молодой парень, по-видимому из какого-то дагестанского племени. Женщин в доме я не видел. Обед был "по-армянски" обильный. Вкуснейшие блюда. Но что было наиболее замечательным — это собственного изготовления кизлярское красное густое ароматное вино. Ни до, ни после я такого вина не пил. Сказал голове:

— Да ведь я сопьюсь в вашем городке.

— Нет, — ответил голова, — от нашего вина будете только сохранять хорошее настроение. Это его свойство.

За обедом говорили о городских делах. Рассуждения головы оказались достаточно оригинальными:

— Если вы человек энергичный и увлекаетесь городской работой, то, я думаю, вы скоро от нас уйдете. Вы спросите: почему? Да по той простой причине, что, по совести говоря, у нас никакой работы и нет. Вы спросите: как это нет? А городское благоустройство? Мостовые, освещение и все другое... А я вам скажу: главное, что надо нашим жителям — это спокойное существование. Ничего не надо делать, что могло бы их волновать, а в особенности вело бы к повышению налогов... Я головой уже не первый год, и меня выбирают. Знаете почему? Потому что я... ничего не делаю, охраняю покой горожан и не повышаю налогов. У нас нет электрического освещения? Нет. Ну, обходились керосиновым и будем обходиться. У нас нет мостовых — и осенью, и в дождливые дни грязь? Да мы к этому привыкли.

В этом духе продолжалась наша беседа. Я понял, что голова, по образованию юрист, владелец обширных виноградников — величайший эпикуреец, предпочитающий спокойную жизнь холостяка в уютных комнатах своего дома, где нет даже женской прислуги. Очевидно, эта жизнь его вполне устраивала, и он считал, что такая жизнь устраивает и его сограждан, и потому нечего суетиться, волноваться, спорить...

В конце нашей беседы, когда мы пили кофе, голова, посмеиваясь, сказал:

Я очень вас прошу быть... городским головой.

— Как?

— А очень просто. Решайте там сами дела, принимайте посетителей. а, когда что-то найдете нужным, мы обсудим. У нас есть два члена управы, но их почти не видно, у них своих дел много, виноградники, коньячные заводики...

Итак, началась моя работа и проживание в Кизляре. До сих пор я вспоминаю этот городок, как какой-то тяжёлый сон. Вдали от железных дорог (тогда через Кизляр железной дороги не было), в степи, на берегу мутного Терека, Кизляр казался отрезанным от внешнего мира, живущим по своим особым обычаям. Это был город армян, но каких-то особых армян, не имеющих сходства с армянами, которых мы знали как энергичных торговцев и дельцов. Кизлярские армяне — народ спокойный, как будто полусонный. У всех у них были виноградники, дававшие обильный урожай какого-то особого сорта винограда. Этот виноград был источником устойчивого материального благополучия кизлярских армян. Все работы на виноградниках и по дому выполнялись рабочими из небольшого дагестанского племени, совершенно темными и покорными. Могло показаться, что тут сохранилось крепостное право, что в Кизляре живут в благополучии мелкие помещики, имеющие своих крепостных.

Да, это был совершенно особый город. И в этом городе действительно делать было почти нечего. Городская дума с преобладанием в ней гласных-армян собиралась редко в небольшом кабинете городского головы.

Я не помню ни одного сколько-нибудь значительного дела, которым были бы заняты гласные; чаще всего толковали об отводе городских земель для построек. В этом были заинтересованы новоселы, преимущественно из русских, и русский гласный спорил с армянами по этим делам. Ведал отводом участков городской архитектор по фамилии Мара. Никаких работ, которые требовали бы участия архитектора, не производилось, а участки для построек мог отводить всякий грамотный служащий. Я сомневаюсь в том, был ли Мара архитектором. Он был хищным взяточником, и голова об этом знал.

— А я его где-то подобрал, его не один раз за взятки выгоняли. Но кто же у нас будет служить за маленькое жалованье? Я лишь советую ему быть более умеренным и сильно не грабить.

В управе был бухгалтер, который больше занимался охо-

той, почти ничего не делал, так как дел-то почти и не было. Около пишущей машинки дремала старая женщина. Был еще посылный. Вот и весь состав служащих Кизлярской городской управы.

Пожалуй, такая организация управления была наилучшей стороной деятельности головы, считавшего, что нет надобности зря тратить средства из весьма скромных кизлярских городских доходов.

Надо было родиться в Кизляре и быть настоящим кизлярцем, чтобы оттуда не бежать. Я не сторонник кизлярского образа жизни, кизлярской спячки, но мне кажется, что сами кизлярцы предпочитали сохранять свой уклад жизни и не быть втянутыми в чрезмерные, как им казалось, темпы городской жизни того времени.

Иногда состоятельные армяне устраивали вечеринки и приглашали меня. До чего же там было скучно! В зале, где вдоль стен стояли стулья, мирно и тихо сидели приглашенные, им разносили чай и сладости. Мужчины попивали вино, и так, почти молча посидев положенное время, гости расходились.

Если шел дождь и улицы Кизляра делались непроходимыми, то своих хозяев поджидали слуги с ... лопатами. Они шли впереди и среди грязи прокладывали путь, а по вечерам шествие возглавлял слуга с огромным фонарем.

Голова, у которого я часто бывал, проводил время за чтением, чем занимался у него и я. Мы мило разговаривали, молча читали. Для него чтение было любимым и безмятежным времяпрепровождением. Он много читал не потому, что его волновали события или одолевала жажда знания. Ничто его не волновало — а он просто с книгой проводил свои спокойные дни.

Как-то он мне сказал:

— Я вижу, что вам у нас скучно. Вот скоро у нас будет устроено развлечение, любительский спектакль. Надо вам пойти, все-таки для вас это будет интересно.

Кое-где были расклеены афиши, старательно написанные от руки. В день спектакля в городе чувствовалось некоторое оживление, ждали редкого события. Не помню пьесы, которая была поставлена, но помню обширный зал, похожий на сарай, до-

вольно тускло освещенный висящими на потолке керосиновыми лампами.

Суматошно и старательно трудились участники спектакля. В первом действии случилось небольшое происшествие. Недалеко от меня сидел почтенный полный армянин с солидной лысиной. Вдруг он ударил ладонью по этой лысине, понюхал ладонь и, прикрывая голову носовым платком, понесся к выходу. Это событие вызвало волнение и нарушило ход спектакля. Оказалось, что там, где сидел зритель, из лампы капал керосин.

После спектакля я пришел к выводу: больше не могу оставаться в Кизляре — буду ждать первого случая, чтоб удрать. Убегавший из зрительного зала лысый армянин, обрызганный керосином, стал для меня каким-то навязчивым символом города.

Как-то голова попросил меня поехать во Владикавказ, областной город Терской области, куда входил Кизляр. Дело, по которому надо было ехать, было маленьким, но голова, по-видимому, хотел как-то меня развлечь.

Повез меня тот же дагестанец, что вез от Каспийской пристани, на той же тройке; он так же останавливал лошадей и совершал какие-то омовения.

Но поездка была мне приятна. Мы ехали вдоль Терека, через терские казачьи станицы, и я вспоминал, что где-то здесь, в одной из станиц, жил молодой Л.Н. Толстой и где-то здесь жили люди, о которых я читал в любимой повести "Казачьи".

Я всматривался в улицы, видел незатейливые "курени", людей, проходивших по станице, и мне казалось, что многое из того, о чем писал Л.Н. Толстой, еще осталось, что в этих станицах сохранился тот простой быт, который был и при жизни там Льва Николаевича.

Я вернулся из Владикавказа в Кизляр, и он показался мне еще более унылым и мертвым. Я уже не мог сопротивляться желанию удрать. Голова это понимал и говорил мне:

— Что же поделаешь, Кизляр не для вас. Я вам признаюсь, что когда кончил университет и вернулся в этот дом, то чуть не бежал. Но я был лентяем и лентяем остаюсь, а Кизляр создан

для лентяев. Вот так я тут и живу, привык, и уже меня ничто отсюда не сдвинет.

В "Русских ведомостях" я прочитал объявление о конкурсе на должность городского секретаря в Курске. Я послал заявление и был приглашен в Курск.

На прощанье мы с головой выпили бутылку кизлярского вина, расцеловались, и я покинул мирный, спящий Кизляр. Каким он стал теперь?

А. Седых

"Новый Журнал" поздравляет Вас с юбилеем и желает счастья и долгих лет творческой жизни.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.
Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы
самиздата, протесты из СССР, произведения лучших
эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 90 долларов в год,
50 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Роман Гуль

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

КОЛОНКА

Всю ночь едет рысью обоз. Надо быстрее и дальше отступить от Екатеринодара, может быть погоня.

Светает. Проезжаем какую-то станицу. Мимо, обгоняя обоз, на легкой тележке едет ген. Алексеев, вид усталый, склонился на мешок, спит.

Только к вечеру останавливаемся мы на опушке леса. Здесь идет переправа через реку. И недалеко за ней въезжаем в немецкую колонию. Белые, крытые черепицей домики, чистые улицы, пивоваренный завод, Bierhalle, люди хорошо одеты.

Вошли в дом, битком набились в маленькую комнату. Усталые, голодные, нервно-измученные. Впереди — никакой надежды: строевые части уменьшились до смешного, корниловский полк сведен в одну роту; с другими полками почти то же; снарядов нет, патронов нет; казаки разбегаются по домам, не желая уходить от своих хат. Настроение тревожное, тяжелое.

— Господа! выстрелы! слышите! — говорит кто-то. И все вышли из хаты.

Донеслись выстрелы. Прожужжала и лопнула над улицей шрапнель.

Нагнали нас. Наступают.

Всех могущих собирают в бой. Люди — как тени. Не спали, не ели, в беспрестанном нервном напряжении. Лениво, устало идут в бой, и каждый знает: тяжело ранят — не возьмут, бросят.

Трещит стрельба, рвутся снаряды. Колонка малая. Все сгущилось на главной улице. Все лишнее приказано уничтожить, обоз сократить до минимума.

К реке везут орудия, ломают их, топят. В пыли на дороге валяются изломанные, смятые духовые инструменты. Разбивают повозки. Выбрасывают вещи.

А стрельба охватывает колонку кольцом.

Прислушиваясь к гулу боя, сидим в хате. На душе тяжелая тревога. Входит матрос Баткин, бледный, возбужденный, с ним — доктор француз. О чем-то оживленно говорили с сестрой Дюбуа и ушли...

— Диана Романовна! что говорил Баткин? — спрашивают со всех сторон. Она взволнована: "Господа, положение отчаянное; большевики охватили нас, снарядов нет, патронов нет, ген. Романовский говорил, что посылают к большевикам делегацию".

— Сдаваться?!

— Да что же делать? Баткина, кажется, посылают... деньги ведь есть большие, золотой запас... им отдадут — будут говорить о пропуске.

— О пропуске? Да о чем они с нами будут говорить, когда они сейчас же возьмут нас голыми руками и всех перережут...

Бой идет совсем близко. Паника разрастается. Уже все говорят о сдаче, передаются нелепые слухи. Раненые срывают кокарды, погоны, покупают, крадут у немцев штатское платье, переодеваются, хотят бежать, и все понимают, что бежать некуда и что большевики никого не пощадят.

Трогаются без приказа подводы. Лица взволнованные, вытянутые, бледные.

— Да подождите же, куда вы поехали! — кричит раненый ослепший капитан. Он побежал за подводой, споткнулся о бревно, с размаха падает, застонал. Его поднимают: "Вставайте, капитан". Не встает, молчит... "Разрыв сердца", — говорит подошедший доктор.

Стемнело. Паника как будто уменьшилась — все примирилось с неизбежным концом.

— Обоз вперед! — вдруг раздаются крики.

— Куда? Неужели пробились? Быть не может?

Но мы уже выехали за колонку, и за бугром на мягкой дороге обоз вытянулся в линию. Артиллерия заметила — бьет залпами. В темноте, бороздя черное небо, со свистом, шуршанием летят, близятся и высоко рвутся семь огней шрапнели.

— А красиво — все-таки, — тихо говорит товарищам по подводе раненый.

Старый возчик обернулся: "Какая тут красота — страх один".

Все смолкли.

Далекий выстрел... летит... летит... по нас... нет, впереди... через подводу... тррах! взрыв! и кто-то жалобно-жалобно стонет.

Капитан слез посмотреть: разбило подводу, упали лошади, казаку-возчику оторвало ноги.

— Да приколите же его! — нервно кричит раненый с соседней телеги.

— Сами приколите! — раздраженно и зло отвечает другой голос.

— Тише, господа, не шумите! ведь приказано не говорить!

Все замолчали, только возчик с оторванными ногами стонет по-прежнему.

Вдруг артиллерия смолкла. Из далекой темноты донеслись дикие неясные крики.

— Ура! слышите, ура! Атака! Атака! — взволнованно заговорили на подводах, завозились, поднимаются.

— Не волнуйтесь, господа, это наши черкесы атаковали артиллерию, — вполголоса говорит проезжающий верховой.

Ура оборвалось. Стало тихо. Как будто ничего и не было. В степи далеко трещат кузнечики. С черно-синего купола неба прямо в глаза глядят золотые звезды. На подводах тихий разговор:

Сережа! видишь Большую Медведицу?

Вижу... а вон Геркулес.

Геркулес, а я вот возчика вспомнил, — говорит, сворачи-

ваясь под одеялом Крылов, — ведь всего на одну подводку нас-то пролетела.

— Да... на одну, он уже не стонет, должно быть, умер. Обоз тронулся. Дует ветерок, то теплый, то холодноватый.

МЕДВЕДОВСКАЯ

Ночь темная. Тихо поскрипывая, черной лентой движется в темноте обоз. Рядом проезжают верховые — вполголоса взволнованно говорят: "Господа, приказано — ни одного слова и не курить ни под каким видом — будем пробиваться через железную дорогу."

В эту ночь под Медведовской решится судьба. Вырвемся из кольца железных дорог — будет хоть маленькая надежда куда-нибудь уйти. Не вырвемся — конец.

Обоз едет, молчит, притаился. Только поскрипывают телеги, да изредка фыркают усталые лошади. Далеко на востоке темноте неба начали разрезать серо-синие полосы.

Идет рассвет. Вдруг тишину разорвал испуганный выстрел, и все остановилось. Смолкло... другой... третий... Стрельба. Сначала неуверенная, но вот чаще, чаще. Треск ширится. Громыкнула артиллерия, где-то закричали ура, с остервенением сорвались и захлопали пулеметы.

Все приподнялись с подвод, глаза впились в близкую темноту, разрезаемую огненными цепочками и вспышками, холодная, нервная дрожь бежит по телу, стучат зубы.

Прорвемся или нет?

— Артиллерия вперед! Передайте живей! — кричат спереди.

— Артиллерия вперед! — несется по обозу, и орудия карьером несутся по пашне.

Бой гремит. Взрывы — что-то вспыхнуло, загорелось, затрещало. Это взорвались вагоны с патронами — горят сильным пламенем, трещат, заглушая стрельбу.

— Господа! ради Бога, скорей! снаряды из вагонов вытаскивать! Кто может! бегите! ведь это наше спасение! господа, ради Бога! — кричит по обозу полковник Кун.

Раненые зашевелились — кто может, спускаются с телег, хромают, ковыляют, бегут вперед — вытаскивают снаряды.

Уже светает. Ясно видны горящие пламенной лентой вагоны. Кругом них суетятся люди, отцепляют, вытаскивают снаряды. И тут же трещат винтовки, хлопочут пулеметы.

Вдали ухнули сильные взрывы — кавалерия взорвала пути.
— Обоз вперед! рысью!

Обоз загалдел, зашумел, двинулся.

Прорываемся.

Вот уже мы рысью подлетели к железной дороге. Здесь лежат наши цепи, отстреливаются направо и налево. Стучат пулеметы. Наши орудия бьют захваченными снарядами. А обоз летит в открытые маленькие воротца, вырываясь из страшного кольца.

Свищут пули, падают раненые люди и лошади. На путях толпятся, кричат, бегут.

По обеим сторонам лежат убитые. Вон лошадь и возле нее, раскинувши руки и ноги, офицер во френче и галифе.

Но на мертвых не обращают внимания. Еле-еле успевают подхватить раненых. Под взрывы снарядов, свист дождя пуль с криком, гиком перелетает железную дорогу обоз и карьером мчится к станции.

Уже въехали в Медведовскую. Заполнили улицы, бегут по дворам за едой и с молоком, сметаной, хлебом догоняют свои подводы.

Сзади стрельба утихает. Быстро едет обоз по полю на Дядьковскую. Уже не молчат, а шумно разговаривают раненые. Но скоро усталые, мечтая об отдыхе, дремлют, засыпают на подводах.

Степь далекая, далекая, зеленая.

Откуда-то пробует догнать нас артиллерия, взрывая землю черными воронками, но далеко — не достать.

Дремлется. На подводе Таня рассказывает о религиозных праздниках в Персии.

Въехали в Дядьковскую. Оказывается, сегодня праздник. Народ нарядный. На окраину высыпали ребятишки. Мальчики в разноцветных бешметах, девочки в ярких платках. Смотрят на нас удивленными большими глазами, потом что-то кричат нам и бегут вприпрыжку за подводами.

Нашли хорошую белую хату. Вся в саду. А сад цветет бело-

розовым пышным цветом. Лежим под яблонями около низенького столика. На столе шипит самовар.

— Ну, Таня, продолжайте о Персии. Как этот праздник-то называется?

Таня рассказывает. Солнце льется сквозь листву. Хорошо. Отдыхаем.

Из боя пришел товарищ, его обступили: "Расскажи, как это мы вырвались-то?"

— Сам не знаю. Марков все дело сделал. Он с своим полком вплотную подошел к станции, пути разобрали, оружие прямо к полотну подвезли. Их войска в поездах были. Подъехал такой поезд, наши по нему прямой наводкой как дадут! Огонь открыли и на ура пошли. Марков первый на паровоз вскочил — к машинисту. Тот: "Товарищ, товарищ!" а он: "Коли, кричит, его в пузо... его мать!" Тут их стали потрошить, бабы с ними в поезде были, перебили их здорово. Они от станции побежали, но скоро оправились, недалеко засели, огонь открыли. Тут вот долго мы с ними возились. А обоз тем временем проскочил. У наших тоже потери большие. А Алексеева видали? Прямо у полотна стоял под пулями. Ну, хорошо, что под Медведовской хоть снарядов и патронов захватили, а то совсем бы был конец.

РЯД СТАНИЦ

Едем степями из Дядьковской. Выстрелов нет, тихо. Обоз приостановится, отдохнет и снова едем рысью по мягкой дороге.

Люди перебегают с подводы на подводу, рассказывают новости.

— Корнилова здесь похоронили.

— Где?

— В степи, между Дядьковской и Медведовской. Хоронили тайно, всего пять человек было. Рыли могилу, говорят, пленные красноармейцы. И их расстреляли, чтобы никто не знал.

— А в Дядьковской опять раненых оставили. Около двухсот человек, говорят. И опять с доктором, сестрами.

— За них заложников взяли с собой.

— Для раненых не знаю, что лучше, — перебивает сестра, — ведь нет же бинтов совсем, йоду нет, ничего... Ну, легкие раны

можно всякими платками перевязывать, а что вы будете делать с тяжелыми? И так уже газовая гангрена началась.

— Это что за штука, сестра?

Ужасная... Она и была-то, кажется, только в средние века.

А в Елизаветинской, мне фельдшер рассказывал, когда раненые узнали, что их бросили, один чуть доктора не убил. Фельдшер в последний момент оттуда уехал с двумя брошенными, так говорит: "Там такая паника была среди раненых..."

— Здесь с ранеными матрос Баткин остался.

— Не остался, собственно, а ему командование приказало в 24 часа покинуть "пределы" армии.

— За что это?

— За левость, очевидно. Ведь его ненавидели гвардейцы. Он при Корнилове только и держался.

Едем. Все та же степь без конца, зеленая-зеленая...

Три вооруженных казака ведут мимо обоза человек 20 заложников, вид у них оборванный, головы опущены.

— А комыссары! — кричит кто-то с подводы.

— Смотрите-ка, среди них поп!

— Это не поп — это дьякон, кажется из Георге-Афинской. У него интересное дело. Он обвинил священника перед "товарищами" в контрреволюционности. Священника повесили, а его произвели в священники, и одновременно он комиссаром каким-то был. Когда наши взяли станицу, его повесить хотели, а потом почему-то с собой взяли.

— А слышали, что ген. Марков нашему начальнику отделения* сказал? Мы выезжаем из станицы, а он кричит: "Нач. 3-го отделения! почему у вас такое отделение большое?"

— Не могу знать, — говорит.

— Сколько раненых оставили в станице?

— Тридцать, — говорит.

— Почему не сто тридцать! — кричит...

Уже вечерет... Знаем, что сегодня ночью должны переез-

* Обоз с ранеными был разделен на отделения.

жать жел. дорогу, но никто не знает: куда мы едем? Одни говорят в Тиберду, другие — в Терскую область. Едем — куда поустят...

Железную дорогу переехали, обманув большевиков. Они ждали нас в одном месте. Мы переехали в другом. Ген. Марков внезапно захватил переправу и с ж.-д. будки в присутствии сторожа, которому было приказано в случае появления кадетов дать знать — сам телефонировал комиссару: "Все спокойно, товарищ".

А потом сел на коня и приказал сторожу передать, что кадеты благополучно переехали железную дорогу.

Едем зелеными степями. Цветущими белыми станицами. Берегами стеклянной реки.

В некоторых станицах — маленький отдых, и опять армия трогается в путь. Пеших — нет. Все на подводах. И раненые, и строевые.

Проехали Бекетовскую, Бейсугскую.

В Ильинской отдыхаем в хате рослого рыжего казака-конвойца. Живет он богато. Хата из нескольких комнат. Лучшая — зала увешана портретами царской семьи, висит картина дела конвойцев под Лейпцигом, портрет командира — бар. Мейендорфа. Конвоец — монархист. Не нравится ему "все это новое". "То ли дело раньше", — и казак сочно рассказывает про прежнее конвоецкое казацкое житье.

Из Ильинской переехали в Успенскую. Здесь хозяин-казак — бедный. Он гостеприимен, угощает, разговаривает, но никак не может понять, зачем мы пошли воевать.

— А земля-то у вас есть? — спрашивает он.

— Есть... была.

— А-а, ну понятно, свое добро всякому жаль. — наконец понимает казак.

Жена его — иногородняя. Она готовит нам, тоже угощает, но смотрит на нас со страхом и все спрашивает: "А ничего не будет тем, вот, кто из станицы убежал, когда вы пришли?!"

— Не знаю, думаю — ничего, а чего же они убежали-то?

— Да кто их знает, побоялись вас, ведь народ все говорил, что иногородних вешать будете... Наконец она не выдержала и

со слезами рассказала, что ее два брата — иногородние бежали, что их комиссар смутил, а теперь, сказывают, что бежавших ловят и расстреливают...

В Успенской встречаем мы Вербное воскресенье. В большой церкви служба. Все — с вербами и свечами. Храм полон, больше раненых. Впереди, к алтарю — Деникин с белым Георгием на шее, Марков, Романовский, Филимонов, Родзянко.

В разговорах на паперти узнаем, что приехала с Дона делегация, зовут туда, что донские казаки восстали против большевиков и уже очистили часть области.

Все радостны. Неожиданный просвет! Едем на Дон, а там теперь сами казаки поднялись! Какая сила!

По станице расклеены воззвания Деникина о борьбе за Учредительное Собрание.

ГОРЬКАЯ БАЛКА

Ранним утром выезжаем из Успенской. Рядом с обозом идут, едут мобилизованные в станице казаки. Теперь в каждой станице кубанский атаман полк. Филимонов и Кубанская крайвая рада мобилизуют их и берут в поход с армией. Но винтовок нет, а потому они в обозе.

Выехали в широкую изумрудную степь. Рысью обгоняет обоз кавалькада. В центре на массивном гнедом коне — ген. Деникин, в форме, с погонами; лицо сурово-озабоченное; кругом него — офицеры и корниловские текинцы. Немного сзади строем едет Кубанская рада, выделяется характерная фигура Быча, с ним рядом Макаренко.

Весь день и всю ночь едет обоз по степи. Под утро должны переехать жел. дорогу под большой станцией Бело-Глинской.

Рассветает, едут шагом — пылят подводы. Впереди затрещали выстрелы — сильнее, сильнее, ударила артиллерия.

Бой на железной дороге.

Командуют: "Рысью"! Понесся обоз, уже ясно видна станция, жел.-дор. путь, поезда.

Впереди лежат цепи, от них долетает треск выстрелов, видны вспыхивающие дымки.

Мчится обоз по дороге, мимо лежащих цепей. Они отстрели-

ваются — перед ними чернеют большевистские цепи.

Под грохот гранат, свист пуль прорвался обоз через жел.-дор. линию и подъезжает к слободе Горькой балке.

Скачут подводы с крутого ската и, перелетев мост, тихо подымаются в гору в село. У первой хаты лежит мертвая женщина, вверх лицом, согнулись в коленях ноги, ветер раздувает синюю с цветами юбку.

Рядом с обозом — верховые.

— Что это за женщина, не знаете? — спрашиваю я одного. Верховой тронул коня, едет с подводой и рассказывает, перегнувшись с седла: "Эта сволочь выдала наш первый разъезд; они у нее остановились — она их приняла хорошо, а сама к комиссару послала; их захватили, перестреляли, топорами перерубили; а когда второй разъезд утром приехал — опять к ней заехали, большевиками прикинулись, она и рассказала, как кадетов выдала... ну, вот и валяется..."

Зашли в хату. У стола красивая смуглая женщина с ребенком.

— Нет ли чего поесть, молодая?

— Да чего же поесть-то? — молочка только.

— Давай молока, не бойся, за все заплатим.

Она посадила на скамью толстого мальчика, принесла из сеней черный глиняный горшок молока, нарезала мягкого душистого хлеба.

Мы едим — женщина взяла на руки ребенка, что-то шепчет ему, боязливо, украдкой взглядывает на нас.

— А где муж-то, молодая?

Она встрепенулась, испуганно уставилась.

— Муж-то?.. в поле... — Помолчала... и вдруг быстро начала, — спросить я вас хотела: вот, боюсь я больно, не захватят его там ваши-то?

— Зачем же захватят? Он работает?

— Знамо, работает, да я слышу, стреляют-то вон в той стороне..., а у нас допреже сказывали, ваши всех солдат расстреливают.

— Это ввали у вас.

— То-то и я говорю, ввали, — повторяет женщина, а в глазах, в лице — страх, недоверие.

Вышли из хаты. От повозки к повозке ходят по площади

люди, незаметно перешагивая через валяющихся зарубленных людей.

— Кто это их зарубил?

— Черкесы. Тут ведь, когда наши разъезды показались, комиссар вооружать всех стал. Ну, вот, их и порубили. Там, на дороге еще валяются.

Недалеко от площади — кладбище. У ограды лежит навзничь рыженький мужиченка — голова свернулась на сторону, грудь в крови, руки вытянулись по земле, правая твердо сжала крестное знамение. С краю — свежие могилы, белые кресты... На одном на железной крашеной дощечке выведено четким писарским почерком:

Товарищ Андрей Голованов
храбро пал в борьбе с врагами
народа, в рядах красной армии
защищая революцию 1918 г. Под
станции Энем.

Вечереет. Смолкли выстрелы. Тронулся обоз по узкой улице, а Горькая балка за клубилась черным дымом.

— Зажгли Балку, — говорит казак-возчик.

— Черкесы это, — отвечает раненый, — они не щадят крестьян; раньше крестьяне их вырезали, а теперь они, вот, ни одной слободы не оставляют...

На край темно-зеленой степи оперлось красное солнце. По траве бегут плоские лучи, зажигая ее алым цветом. Бирюзово-желтое небо темнеет.

ОПЯТЬ ЛЕЖАНКА

Наш путь лежит опять на Лежанку. Перед ней мы заехали в ст. Плотскую, в которой уже были в феврале. Я иду к знакомому плотнику, так недоверчиво говорившему в прошлый раз об Учредительном Собрании.

Вошел — плотник узнал меня.

— Садитесь, садитесь, опять приехали.

— Приехали, ну, как живете?

— Да мы что, — тянет плотник, — вот как вы?.. говорят,

вашего главного-то убили, правда это? На лице его нехорошая улыбка.

— Кого, главного?

— Да Корнилова-то, — улыбается плотник.

— Нет, не убили, — лгу я помимо воли.

— Не убили: а у нас слыхать было, что убили.

Плотник помолчал.

— Где вы остановились-то?

— Здесь, в угловой хате.

— А, у Калистратовой... — Пауза.

— У нее сын-казак, а в Красную армию ушел, — смеется плотник, — вы ее спросите, где, мол, у тебя сын-то? что она скажет, она, поди, вас боится...

К вечеру мы въехали в Лежанку и остановились на площади.

Ночь свежая, холодная. Черный купол неба блещет золотом звезд. Обоз ночует здесь. Поскрипывают телеги, фыркают, жуя сено, лошади, изредка кто-нибудь простонет — и опять тихо. Небо чуть синее, рассветает. Обоз зашевелился, ругаются: "Да, где же это начальство!.."

Уже светло. Раненые сползают с телег, идут по хатам пить чай. На дороге обступили кого-то, стоят кучкой. В середине, держа в руках коней, — три запыленных донца-казака. В синих полуподдевках, шаровары с красными лампасами, фуражки лихо сбиты набекрень, из-под них торчат громадные вихры волос.

— Все встали, чисто как один, — говорит широкоплечий, рослый казак, — из половины области их уж выгнали, теперь вас только ждем, нас за вами депутатами послали.

— Какой вы станицы?

— Егорлыцкой.

— Ну, а теперь нас обстреливать не будете сами? — спрашивает худенький раненый юнкер.

Казак засмеялся и махнул рукой.

— Да рази мы кады обстреливали? Теперь не беспокойтесь — и стар, и мал за винтовку схватились, на себе испытали...

Идем в первую хату. Кухня, у печи — женщина.

— Здравствуйте, хозяйка, не найдется ли чего закусить или чайку попить?

— Ох были ваши здесь, все забрали.

— Может, что и найдется?

— Седайте, вон, за стол, — показывает рукой она, не глядя на нас.

Сели. На столе позеленевший самовар. Кое-что нашлось, едим, а хозяйка стоит у стены, подпершись рукой.

— А вы в прошлый-то раз были, что ль? — спрашивает она.

— В феврале-то? — были, а что?

— Ничего, народу много тогда побили. — спокойно говорит она.

— У вас кого-нибудь убили?

— Мужа убили, — отвечает хозяйка каким-то безразличным голосом.

— Мужа? где ж его?

— Вышел он из хаты вот недалечка, его бонбой вашей и убило...

— Снарядом?

— Снарядом, чи бонбой, рази я знаю..., — хозяйка помолчала.

— А сегодня вас комиссар хлебом-солью встречал, все народ уговаривал не бежать: так, говорит, лучше: не тронут. С хлебом-солью к вашему начальнику выходил.

— Да чего бегут-то?

— Чего? Боятся — вот и бегут.

С площади обоз разъезжается.

Наша подвода едет на край села, к реке. Во дворе, у хаты — бабы, ребятишки, все тупо-испуганными лицами уставились на нас.

— Хозяйка, мы у вас встанем! — Она молчит, как будто не понимает. Идем в хату — метнулась к нам, заговорила: "Да мы сами на фатере стоим, нет у нас ничего и хата малая".

— Что же делать-то, хозяйка — не на улице же нам оставаться. Все хаты заняты. А вы не бойтесь — мы народ смирный, все переранены.

— Ох, не знаю же я как, хозяина-то нет, — охает баба.

Скоро помирились. Хозяйка сварила яиц, поставила самовар...

Я вышел на крыльцо. За огородом синееет река, змейками

блестя на солнце, за ней начались, ушли в даль бесконечные донские степи.

— Заходите к нам! — зовет Таня из крошечного оконца белой хаты. Зашел.

— Вы у квартирантов остановились, а мы у самой хозяйки, — смеется она, — только хозяйка-то что-то сердитая. Мы уж на кухне устроились, а она там, — показывает Таня на комнату, отгороженную мазаной стенкой, — наверное, у нее прошлый раз кого-нибудь убили. Пойдите к ней, поговорите.

Я вошел. В комнате у окна сидят старуха и молодая женщина. Молодая, увидев меня, отвернулась с недовольным лицом и вышла из хаты, шлепая босыми ногами.

— Здравствуйте, бабушка! Вы уж нас простите, что поселились здесь, ничего не поделаешь, не наша воля.

Старуха непонимающе посмотрела.

— Не сердитесь, бабушка! — весело кричит из-за перегородки Таня.

— Чего там сердиться-то, — шамкает старуха, — только, говорю, праздник большой скоро...

Таня позвала меня к себе, а вечером я снова зашел к старухе.

Теперь она смотрела на меня уже как на знакомого. Сел у стола. Над ним карточка лихого пограничника унтер-офицера, размахивающего на коне шашкой.

— Это сын ваш?

— Сын, — шамкает старуха.

— Где он?

Старуха помолчала, глухо ответила:

— Ваши прошлый раз убили.

Я не знал, что сказать.

— Что же, он стрелял в нас?

— Какой там стрелял. — Старуха пристально посмотрела на меня и, очевидно, увидев участие, отложила работу и заговорила. — Он на хронте был, на турецким... в страже служил, с самой двистительной ушел... ждали мы его, ждали... он только, вот, перед вами вернулся... день прошел — к нему товарищи, говорят: наблизация вышла, надо к комиссару итти..., а он мне говорит: не хочу я, мама, никакой наблизации, не навоевался,

что ль, я за четыре года..., не пошел, значит... к нему опять пришли, он им говорит: я в кавалерии служил, я без коня не могу, а они все свое — иди да иди..., пошел он ранехонько — приносит винтовку домой... Ваня, говорю, ты с войны пришел, на что она тебе? брось ты ее, не ходи никуда..., что Бог даст — то и будет..., и верно говорит, взял, да в огороде ее и закопал... закопал, а тут ваши на село идут, бой начался..., он сидит тут, а я, вот, вся дрожу, сама не знаю, словно сердце что чувствует... Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще, выкини ты, поди, лучше будет..., нет, говорит, ничего..., а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидела их... Ванюша, выброси, говорит..., взял он, пошел..., а тут треск такой, прямо гул стоит..., вышел он на крыльцо, и ваши во двор бегут... почувяла я недоброе, бегу к нему, а они его уж схватили: ты, кричат, в нас стреляй!.. он обомлел, сердешный (старуха заплакала); нет, говорит, не стрелял я в вас... я к ним: не был он, говорю, нигде... а с ними баба была добровольница, та прямо на него накинулась... сволочь! — кричит, большевик! да как в него выстрелит... он крикнул только, упал..., я к нему... Ваня, кричу, а он только поглядел и вытянулся... Плачу я над ним, а они все в хату..., к жене его пристают..., оружие, говорят, давай, сундуки пооткрывали, тащат все..., внесли мы его, вон, в ту комнату, положили, а они сидят здесь вот, кричат: молока давай! хлеба давай!.. А я как помешанная — до молока мне тут, сына последнего ни за что убили...

Старуха заплакала, закрывая лицо заскорузлыми жилистыми руками...

— Он один у вас был?

— Другой на австрийском хронте убитый, давно уж, — всхлипывает старуха, утирается и опять говорит сквозь слезы. — А какой парень-то был, уж такой смирный, такой смирный.. — близко наклонившись ко мне, она зашептала, показывая на трехлетнюю девочку, притаившуюся в углу хаты: "Девчонка-то без него прижита... другой попрекал, бил бы, а он пришел — ну, говорит, ничего... не виню я тебя... только смотри, чтоб при мне этого не было..."

Старуха замолчала. Я посмотрел на лихого пограничника и ушел к своим раненым.

Сегодня Великий четверг, мы идем к Двенадцати Евангелиям.

Церковь полна ранеными. Хромают, ноги обвязаны разноцветными тряпками. Осторожно носят подвязанные платками руки.

Пламя желтых свечей мерцает по бледным усталым лицам. Церковь загорелась огнями. Священник читает Евангелие. Кончил — потухли свечи. Поют. Далеко ухает артиллерия, как будто кто-то большой, страшный тяжело вздыхает.

Вышли в сад, на паперть. Ночь синяя, весенняя. Свежо. Сильно пахнет распустившаяся сирень. Из церкви круглыми нежными звуками вылетает пенье и замирает в весеннем воздухе.

— Тут служба, а на площади повешенные, — тихо говорит товарищ.

— Кто?

— Да сегодня повесили комиссаров пленных.

В церкви тухнут огни. Служба кончилась. Все выходят, столпившись на темной паперти. В мраке улиц, дрожа, плывут огоньки свечей — от Евангелий. Кое-где в маленьких слепых оконцах вздрагивает свет, а далеко где-то ухает, вздыхает артиллерия.

Следующий день лежим в хате. Полусонно. Маша, хозяйская дочка, держит в руках бумажку и поет что-то, заглядывая в нее, на мотив Стеньки Разина. Она уже с нами освоилась, разговаривает, смеется.

— Ты что поешь, Маша?

Смутилась, прячет лицо, закрывается бумажкой.

— Что поешь-то?

— Песню, — тихо отвечает она.

— Какую?

Мать улыбается. — Это она поет, здесь песню сложили, про бой про первый.

— Ну-ка, покажи мне, Маша.

Подбежала с протянутой в руке бумажкой и, отбежав, опять села у стены. На бумажке каракулями написана "Песня":

Долго, долго мы слушали
Этих частных телеграмм,
Наконец мы порешили
Защищать Лежанский план.

И вступивши мы в Лежанку,
Не слышали ничего.
А на утро, только встали,
Говорят нам все одно.

Что кадеты идут в Лежанку
Не боятся ничего
И одно они твердят:
Заберем всех до одного.

Лишь кадеты выступали,
Выходили из горы,
То мы все приободрились,
Взяв винтовочки свои.

Положились мы в окопы,
Дожидались мы врага
И мы их сперва пустили
До карантирского моста.

Тут же храбрый наш товарищ,
Роман Никифорович Бабин,
Своим храбрым пулеметом
Этих сволочей косил.

Он косил из пулемета,
Как хорош косарь траву,
Крикнем братцы мы все громко
Ура товарищу Бабину.

Пулеметы помогали
Пехотинцам хорошо,
Батарея ж разбежалась,
Не оставив никого.

И орудья побросали
По Лежанскому шляху,
А затворы поснимали —
Все спешили ко двору.

А пехота дострелялась,
Что патронов уже нет,
Хоть она и утерала
240 человек.

Жаль товарищей попавших
В руки кадетам врагам
Они над ними издевались
И рубили по кускам.

Я спою, спою вам, братцы,
Показал вам свой итог,
Но у кого легло два сына —
Того жалко, не дай Бог.

— Это у нас в училище играют, — говорит Маша.

— А кто этот Бабин? — спрашиваю я хозяйку.

— Солдат был ... На площади вот его хата.

— Его убили?

— Убили, рассказывают, на пулемете закололи.

В Великую субботу выезжаем на Егорлыцкую. Едем долго.

Ночь. Темно. Степь покрыли черные тучи. Носится злой ветер.

Брызжет мелкий колючий дождь. Подводы тихо ползут по черной степи. Оттуда, где перекачивались выстрелы, донеслись гулкие неясные крики, — это кавалерия пошла в ночную атаку.

— Что, двенадцать уже есть?

— Есть, первый.

— Встретили заутреню.

ОПЯТЬ НА ДОНУ

Мелькают огни станицы. Егорлыцкая. По темной улице едет подвода — ищем квартиру, останавливаясь у каждой хаты.

3. вошел в одну.

— Ну что?

— Нет, сын у хозяина убит, только что привезли из боя.

Нашли небольшую хатку. Впустили. Казак и жена радушные. На столе пасха, кулич, самовар. Хозяева угощают.

— Ну, пришли вы, слава Богу, а то прямо сил нет... со всех концов насаждают, — говорит казак. — И старые и малые в бой ходили, сам пошел на старости лет. Всю станицу окопами обрыли. Сегодня отобьем их — назавтра, гляди, опять прут, да еще больше, с артиллерией. Последний раз, когда это? в четверг, что ли? весь день пробились, видим — не отбить. До ночи дрались, а ночью собрали баб, ребятишек, и айда, — в степь уехали.

На утро они станицу заняли, давай все наше добро делить, дома, скотину всякую. А тут ваши с Лежанки идут, на них ударили. Мы услышали — тоже из степи на станицу пошли. Они бежать... Комиссара ихнего захватили. Их перебили. Опять в свои хаты пришли. Теперь с вами-то полегче, а то прямо край, гонят из последней хаты и на поди...

Казак укладывает нас. Ухаживает за нами.

Раннее утро. Первый день Пасхи. Пошли по станице. Попадаются пешие вооруженные казаки в синих кафтанах, в шароварах с лампасами. Едут верховые на рыжих конях. Но народу в станице мало. Не по-праздничному. Недалеко от Егорлыцкой — бой. И казаки вместе с добровольцами — там.

Идем широкой улицей.

Деревянные чистые просторные дома с занавесками на окнах. Кругом сады в цвету. Поперек улиц носятся вихрем — играют здоровые, ловкие казачата. Где-то перебирает гармоника. Проскакали верховые. Ветер поднял по улице пыль и несет ее облаком.

— Слыхали, завтра на Новочеркасск всех раненых отправляют! — высунувшись из окна кричит знакомый.

Утром обозу приказано построиться. Опять донскими бескрайними степями едет обоз. Но теперь степь не снежная, а зеленая, как изумруд. На зелени кое-где алеют кровавыми пятнами воронцы. Дымится пыль над обозом. Одна верста похожа на другую. Степь... степь... без конца...

Прошлый раз, в феврале, в Мечетинской, армия тонула в грязи. Теперь — дорога сухая, станица — зеленая. Остановились у иногородних. Хозяева нелюбезны. Отворачиваются и ворчат что-то под нос. На стенах фотографии матросов.

— Что это у вас все матросы? — спрашиваю я хозяйскую дочь, намазанную городскую проститутку.

— А чиво ж им не висеть-то? народ веселый,— хихикает она...

Опять чай, молоко, разговоры о Новочеркасске...

— Неужели поедем?

— Черт возьми, хоть от вшей освободиться да снарядов не услышишь.

— А знаете? полк. Корнилов с 19 офицерами из армии убежал.

— Ну? куда?

— Не знаю. Ночью на подводах, с пулеметами куда-то свистнули. Офицеры все — из штаба, из контрразведки. Их догоняли, ловили — не поймали.

— А многие бегут из армии прямо на Ростов, на Новочеркасск.

— Да... А я вот вам штуку расскажу. Здесь на площади баб как пороли, интересно. Когда большевики пришли, они вместе с ними потребительскую лавку разграбили. Ну, а после, у кого какую вещь найдут — на площадь, заголяют, сами казаки поруют, а кругом хохочут.

На улицах Мечетинской также ходят вооруженные казаки. И старые, и малые — все поднялись. Несколько раз выбивали они большевиков из станицы и опять отдавали. Но теперь положение крепнет. Весь Дон всколыхнулся. Освобождается округ за округом. Казаки гонят красных из станиц. Комиссаров сменяют атаманы.

Едем на Маныцкую. Все знают, что из нее на пароходе по Манычу и Дону — в Новочеркасск. Чувствуется близость отдыха, все мечтают, что не услышат больше приближающегося свиста снарядов, трещащего переката ружей, стонов и переменят одежду, сплошь покрытую вшами.

День прожили в Маныцкой. На другой — погрузка.

У берега Маныча — большой белый пароход, к нему прицеплена баржа. Раненых несут на руках, на носилках. Больные, легкораненые сами ковыляют, хромают. Пароход — погружен, засвистел, выпустил клубы черного дыма, поплыл...

Раненые сидят, лежат на палубе; бледны измученные лица; усталые глаза; шинели и разные шапки — все рваное, грязное, измятое; ноги некоторых обвязаны тряпками вместо обуви.

Пароход выходит из желто-грязноватого Маныча в сине-голубой Дон. Дон сильным разливом затопил луга, леса. Речной простор его так широк, что глазом не окинешь. Плыдем мимо древней столицы казаков — станицы Старо-Черкасской. Здесь хранятся цепи Степана Разина.

Бегут берега, посвистывает пароход — подходим к Аксаю.

— Господа, немцы! Смотрите, немцы! — кричит раненый. Все метнулись к борту. Рядом с пароходом, на его волнах — плывет, качается лодка. На веслах в серой форме с красными околышами — два немца. На руле — барышня в белом.

— Вот сволочь! — качает головой раненый.

— Как неприятно все-таки. На Дону — немцы! — говорит другой.

— Это что же, союзники иль победители? — криво усмехается старый капитан.

Пароход свистит, причаливая к Аксаю. На берегу — немецкие часовые. Офицер в светло-сером, почти голубом мундире, с моноклем в глазу, отдает им какие-то приказания. Часовые стоят, как деревянные, с откинутыми назад руками. На берегу гуляют чистенькие, блестящие немцы.

Рваные, грязные, вшивые, хромые, безрукие раненые выползли на берег. Смотрят на них. Немцы тоже смотрят и чему-то смеются меж собой.

Пароход плывет дальше. Разговоры на палубе смолкли. Все притихли.

Далеко, на горе, горит золотом купол Новочеркасского собора. Уже виден город. Подплываем к Новочеркаску. Причалили к берегу-улице.

Шедший народ останавливается. Смотрят на нас. С палубы кто-то махнул платком. Но толпа — случайная. Расходятся по своим делам.

На берег никого не пускают.

— Почему?!

— Да что это такое!! — волнуются раненые.

— Господа, оказывается, нас не ждали здесь. И потому нам, по крайней мере, день придется пробыть на пароходе. Доктор Родзянко поехал к атаману поговорить о нас, — заявляет офицер из начальства.

Одни злобно ругаются. Другие — молчаливо задумались. Но раненых, могущих итти, удержать нельзя.

Обвязанные грязными бинтами, хромые, рваные, с тряпками, мешочками, с палочками, они уже сошли с парохода иковыляют, идут в город.

На улицах прохожие останавливаются, удивленно смотрят на оборванцев и осторожно спрашивают:

— Вы кто такие? откуда?

— Корниловцы, из похода вернулись.

— Ааа! — тянут прохожие, спокойно ускоряя шаг.

Мы дошли до той же грязной гостиницы "Лондон", где останавливались, приехав в Новочеркасск. Сняли тот же скверный номер. В комод, в столе — бумаги. Читаю — бумаги красноармейцев, какие-то рапорта, условия службы.

— Что это за бумаги? Большевики, что ли, жили? — спрашиваю я вошедшего лакея.

— Да... жили здесь два командира ихние, — нехотя отвечает он.

— Что же, убежали?

— Нет, не успели. На крыльце их вот тут убили, у гостиницы.

— Кто?

— Казаки, когда восстали.

В Новочеркасске как будто ничто не менялось. Опять на чистеньких улицах мелькают разноцветные формы военных, красивые костюмы женщин, несутся автомобили, идут казачьи части. Только рваные корниловцы явились диссонансом. Хромые, безрукие, обвязанные, с бледными лицами идут они по шумящим, блестящим улицам...

В ЛАЗАРЕТЕ

Для раненых отвели лазареты в городе, и мы легли в Епархиальном училище. Большое здание, почти на краю города, все в зелени. Вдали виднеется бесконечная степь.

Все комнаты-палаты полны ранеными, больными. В палатах, коридорах суетятся изящные сестры и волонтерки.

В зеленом саду в синих, белых халатах раненые лежат, чита-

ют ростовские, новочеркасские газеты. Во всех одно и то же: "вернулись герои духа", "титаны воли", "горсть безумно-храбрых", "воодушевленных любовью к родине"...

Но в лазарете белья не хватает, некоторые спят без простынь и одеял. Какие-то дамы, девушки, девочки хлопочут о питании, но до сих пор вместо хлеба за обедом дают хлебные крошки.

В Ростове пущен лист сбора пожертвований в пользу "героев", от ростовского купечества собрано... 470 рублей, а раненых прибыло всего тысячи две.

Чаще, чаще у дверей Епархиального училища появляются женщины с взволнованными лицами. Они останавливают встречаемых раненых, спрашивая дрожащим голосом: "Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы N., он маленький такой, брюнет... не здесь ли он?.."

Лица у них исстрадавшиеся, в глазах слезы, губы дергаются. Это матери разыскивают своих детей.

Одни из них находят, другие узнают о смерти, третьи ничего не могут узнать. И все они плачут, не в силах сдержать ни своей радости, ни горя, ни страшной неизвестности...

Подошла красивая девушка: "Господа, не знали вы корнета Штейна?"

— Н-нет, простите, одну минуту, я сейчас спрошу. Господин ротмистр! подите сюда, пожалуйста!

Подходит ротмистр. Она спрашивает, а он неловко мнется.

— Я — невеста корнета Штейна, Вы не бойтесь, я знаю, что он убит, но я хочу все, все о нем узнать..., если можете, расскажите, пожалуйста, все, как было... пожалуйста...

Ротмистр рассказывает красивой девушке, как жених ее с другими офицерами поехал в разъезд, как их захватили в хате крестьяне и изрубили топорами, как потом, взяв свободу, кавалеристы мстили за изуродованные трупы.

А девушка слушает, строгим красивым лицом глядя на ротмистра. Он кончил.

— Спасибо. — говорит она, протягивая руку.

НА ДОНЦЕ

Мы с братом переехали из лазарета к знакомым в ст. Каменскую. Живем на берегу Донца.

За зеленым садом — желтый, песочный берег, змеится синий Донец, за ним — старая станица с пирамидальными серебристыми тополями, белыми хатами; говорливые, бойкие казачки быстро сбегают с ведрами с кручи к реке; по реке скользят лодки...

Мы плывем. Вечерет. Закатное солнце бросает в воду последние лучи, преломляющиеся тысячами цветов. Тишина, — будто все к чему-то прислушивается. Булькнули брошенные весла. Скользит лодка, прижимаясь к темно-зеленому ивовому берегу. Только из станицы слабо долетает песня с гармоникой.

Вместо пушек — заквакали лягушки.

Вместо пулеметов — трещат кузнечики.

От воды поднимается прохладный туман. Сгущаются тени. Лодка причалила.

Вскоре мы с братом вышли из армии.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
(для всех членов и кандидатов ЦК и ЦКК).

ПЕРЕГОВОРЫ С ФРАНЦИЕЙ И ВОПРОС О ПРИЗНАНИИ ДОЛГОВ*

1. Платформа большевиков-ленинцев (оппозиции) гласит:

”В кругах руководящего большинства, под влиянием англорусского разрыва и других трудностей, международных и внутренних, ныне вынашивается такой, примерно, план: 1) Признать долги; 2) Более или менее ликвидировать монополию внешней торговли; 3) Уйти из Китая...; 4) Внутри страны — правый ”маневр”, т.е. еще некоторое расширение нэпа. Этой ценой надеются уничтожить опасность войны, улучшить международное положение СССР и устранить (или ослабить) внутренние трудности” (стр. 68-69).

Платформа не говорит, что этот план сознательно усвоен и последовательно проводится Центральным Комитетом. Если бы дело обстояло так, то это означало бы, что оппозиция упустила момент для своевременного предупреждения партии об угрожающей опасности. На самом деле этого еще нет. Капитулянтские тенденции по отношению к мировой буржуазии лишь вынашиваются в известных кругах руководящего большинства. Примером может служить, напр., недавняя речь Чичерина на августовском

*Публикуемые документы хранятся в архиве Троцкого (Хогтонская библиотека Гарвардского университета, фонд bMs Russ. 13 T-870, T-911, T-3048, T-982, T-1028. Публикуются с любезного разрешения администрации Хогтонской библиотеки.

объединенном Пленуме. Как всегда в таких случаях бывает, центристские элементы до поры до времени сопротивляются нажиму справа, чтобы затем — в той или другой мере — капитулировать перед ним. Эта опасность грозит и сейчас. Она проявляется и в политике Политбюро по отношению к Франции.

2. Попытка Сталина отмахнуться и в этом вопросе ссылкой на то, что критика со стороны оппозиции "помогает" будто бы французской буржуазии, представляет собою по существу наиболее яркое выражение капитулянтских настроений. "Не смейте критиковать мою склонность к излишним уступкам, иначе услышит буржуазия и начнет нажимать на меня еще более". "Не смейте критиковать мою политику в Китае, иначе английская буржуазия услышит и рассердится". Сталин прячется здесь за спину буржуазии, чтобы заткнуть рот партии. Но вопрос о сопротивлении домогательствам буржуазии, в том числе французской, совсем не разрешается для нас устойчивостью или неустойчивостью Сталина в переговорах. Дело идет о силе сопротивления партии и трудящихся масс. Вот почему не молчать надо о колебаниях верхушки, которая хочет подменить собою партию и государство, а открыто предупреждать об этих колебаниях и надвигающихся новых ошибках.

3. Вопрос о признании долгов царской России относится к числу важнейших вопросов тактики пролетарской диктатуры. Надо различать при этом вопрос о формальном или фактическом признании всех старых долгов, т.е. об открытом или замаскированном отказе от декрета 28 января 1918 года (аннулирование долгов царского и Временного правительств) и отдельные соглашения по поводу долгов чисто делового характера, т.е. предусматривающие взаимную выгоду.

4. Не может быть и речи о принципиальном признании долгов царской монархии. Аннулирование этих долгов было одним из важнейших завоеваний Октябрьской революции. Это аннулирование дало возможность на основе внутренних средств достигнуть нынешнего уровня хозяйственного развития. Признание долгов явилось бы сокрушительным ударом для социалистического строительства и пролетарской диктатуры, так как неизбежно повело бы к резкому ухудшению материального положения рабочих и трудящихся вообще, к еще большей задержке и без

того медленной индустриализации, к угрожающему росту силы иностранного капитала в хозяйстве нашей страны. Все это означало бы, при наличии прочих трудностей, удушение социалистической революции в близком будущем и закабаление нашей страны иностранным капиталом. Экономическое поражение рабочего государства стало бы одним из важнейших факторов капиталистической стабилизации.

5. Допустимы, однако, отдельные практические соглашения по поводу долгов, основанные на взаимной выгоде. Оставаясь целиком на почве декрета от 28 января 1918 года, можно признать известную, строго ограниченную часть старых долгов при условии предоставления нам взамен этого соответственных выгод, экономических или политических, в виде новых кредитов или отказа от участия в военном блоке против нас и пр. и т.п.

При громадной, однако, важности и ответственности таких частных соглашений необходимо с полной ясностью разобрать обстановку и условия каждого такого соглашения.

Весной и летом прошлого (1926) года велись переговоры о частичном признании с нашей стороны долгов в обмен за предоставление нам Францией новых кредитов. Положение наше в этих переговорах было достаточно благоприятное. Франция не оправилась еще от последствий инфляции. Англия была парализована стачкой горняков. В Китае начался северный поход. В ожидании хорошего урожая Советский Союз повышал темп хозяйственного строительства. Теснимое своими противоречиями с Англией и обострившимся сербско-итальянским конфликтом из-за Албании, французское правительство хотело соглашения и торопило нас. Поскольку Политбюро ставило ставку на французскую карту, оно могло в этот момент достигнуть соглашения на наиболее для нас выгодных условиях.

Момент был не только упущен, но было сделано все, чтобы оказаться в нынешнем, исключительно трудном положении. Наша международная политика была за этот период типичной мелкобуржуазной политикой, т.е. цепью колебаний между избытком самоуверенности, когда обстановка складывалась более благоприятно, и между готовностью к недопустимым уступкам, когда нажим буржуазии усиливался.

6. Первая половина 1926 года была временем особого расцвета мелкобуржуазной теории социализма в одной стране.

Эта теория, представлявшая собою искривленное отражение восстановительного периода в сознании Сталина-Бухарина, сыграла роковую роль не только в хозяйственных перспективах и планах, но и в наших переговорах с Францией. Забвение мировых хозяйственных связей и зависимости нашего хозяйства от мирового рынка; бухаринская теория черепашьего темпа; заверение, что мы на 9/10 уже построили социализм; травля по поводу "пессимизма и маловерия" оппозиций — все это сочеталось в типичную мелкобуржуазную самоуверенность, насквозь проникнутую провинциальной ограниченностью: "мировой рынок, мол, не в счет; кредитов нам не нужно, обойдемся сами" и пр. и т.п. В самом деле, если основной опасностью являлись "забегание промышленности вперед" и "сверхиндустриализм оппозиции", то к чему искать соглашений, кредитов, притока мировой техники. Исходя из этой в корне ложной установки, в основе которой лежит мелкобуржуазная национальная ограниченность, сталинское руководство фактически прервало переговоры с Францией в момент, наиболее благоприятный для достижения соглашения.

7. С помощью предателей Генсовета английские консерваторы громят всеобщую стачку и забастовку горняков. Прикрываясь меньшевистской, по существу, "теорией стадий", переименованной в "теорию ступеней", Сталин и его единомышленники отстаивают пользу политического блока с предателями пролетариата.

Мощное революционное движение в Китае терпит неслыханные поражения вследствие ложного в корне, по существу, меньшевистского руководства.

Вместо исправления правых ошибок в Коминтерне и в ВКП ведется бесшабашный огонь налево. Позиции революционного пролетарского авангарда ослабляются в международном масштабе. Наша политика и в Шанхае, и в Лондоне (поддержка Генсовета) играла в это время объективно на руку английским консерваторам. Тот же характер имела и внутренняя политика. Сталинское руководство по всей линии международного фронта укрепляло позиции врагов, ослабляя СССР.

8. Поражение революции в Китае, ослабление Коминтерна, банкротство Англо-русского комитета, разрыв с Англией, непосредственная угроза войны — вот обстановка 1927 года, в

которой Политбюро приняло свои архиспешные, чрезвычайные меры для возобновления переговоров с Францией. В таких условиях наша торопливая готовность идти на уступки явилась в глазах французской буржуазии лишь выражением шаткости, близорукости и слабости нашего руководства. Положение нашей делегации в переговорах должно было, в соответствии с этим, резко ухудшиться. По существу дела, Франция теперь требует от нас признания весьма значительной части царских долгов за одно лишь сохранение с нами дипломатических отношений. Французское правительство разделяет вопрос о долгах и кредитах. Соотношение между нашими долговыми обязательствами и возможными кредитами вырисовывается сейчас как неизмеримо менее благоприятное, чем оно могло бы быть в 1926 году. Такая постановка для нас неприемлема. Мы должны поэтому сказать ясно: *мы — против данного соглашения.*

9. На заседании Президиума Коминтерна Сталин уже сделал попытку спрятаться за спину Раковского, который-де предлагал большие уступки, чем те, на какие пошло Политбюро. В печати имя т. Раковского треплется в том же, примерно, смысле. Близорукая политика есть в то же время и трусливая политика: руководители этой политики вместо того, чтобы нести за нее ответственность перед партией и рабочим классом, всегда стремятся спрятаться за чью-нибудь спину. Раковский, как и каждый из нас, выполняет на советском посту лишь директивы партии, в данном случае Политбюро. Это вынужден был признать в своем интервью Чичерин, заявивший французскому журналисту:

“Посол является ответственным проводником политики своего правительства. Полпред Раковский в своей работе в Париже вполне правильно и верно проводит политику советского правительства”.

Наиболее благоприятный момент для соглашения, указывавшийся Раковским, был упущен. Раковскому приходится вести политику в той обстановке, которую создает Политбюро. Те или другие практические предложения т. Раковского являлись и являются ответом на требование Политбюро добиться соглашения с Францией в архинеблагоприятных условиях.

Свою собственную политическую линию т. Раковский

выразил в своих речах на августовском Пленуме, где он решительно критиковал Политбюро, и в платформе большевиков-ленинцев (оппозиции), в выработке которой Раковский принимал участие и которую он подписал.

10. При условии правильной международной ориентировки, правильной оценки борющихся сил, правильного использования внутренних противоречий среди империалистов, то или другое практическое соглашение в вопросе о долгах, хотя бы и связанное с известными материальными жертвами, может оказаться вполне целесообразным и приемлемым. Но величайшей утопией является попытка откупиться крупной денежной подачкой от последствий ложной в корне международной политики при условии дальнейшего продолжения этой политики — в дипломатической области, в Коминтерне, в хозяйственной политике и внутри партии.

11. Платформа большевиков-ленинцев (оппозиции) гласит:

“Правильная ленинская политика включает также и маневрирование. В борьбе против сил капитализма Ленин неоднократно применял и способ частичных уступок, чтобы обойти врага, временных отступлений для того, чтобы затем вернее двинуться вперед. Маневрирование необходимо и теперь. Но лавируя и маневрируя с врагом, когда его нельзя было опрокинуть прямой атакой, Ленин неизменно оставался на линии пролетарской революции. При нем партия всегда знала причины маневра, смысл его, пределы его, ту черту, дальше которой нельзя отступить... Благодаря этому маневрировавшая пролетарская армия всегда сохраняла свою сплоченность, боевой дух, ясное сознание своей цели.

За последний период произошел решительный сдвиг партийного руководства с этих ленинских путей. Группа Сталина ведет партию вслепую. Скрывая силы врага, создавая везде и во всем казенную видимость благополучия, она не дает пролетариату никакой перспективы или, еще хуже, дает неправильную перспективу, движется зигзагами... Ссылками на ленинское маневрирование она прикрывает беспринципные метания из стороны в сторону, неожиданные для партии, непонятные ей, разлагающие ее”.

В важнейших вопросах международной и внутренней политики — так говорит наша платформа

“партия и рабочий класс узнавали правду или часть правды лишь

после того, как на их голову сваливались тяжкие последствия ложного в корне курса”.

Все это полностью подтвердилось и на французской политике Политбюро. Переговоры велись полностью за спиной партии. Ссылка на военную тайну в переговорах с врагом является лживой отпиской. Никто не требует преждевременного оглашения секретных деталей. Но дело в том, что т. Раковский, по поручению Политбюро, давал информационное интервью во французской печати, а наша печать одновременно лишена была права перепечатывать эту информацию. Таким образом, французские лавочники гораздо раньше и гораздо полнее узнавали о намерениях нашей дипломатии, чем члены ВКП.

12. В случае необходимости идти на то или другое соглашение, которое возлагает на советскую страну новые жертвы, огромное значение имеет вопрос о том, *кто будет платить*, т.е. вопрос о нашей политике зарплат, о налоговой политике, об общем курсе в отношении бедняка и кулака. Маневренные уступки мировой буржуазии требуют не только правильной мировой политики, но и революционно-классовой политики внутри.

Возможность правильного маневрирования предполагает активную и сплоченную партию, контролирующую все свои органы. Нельзя одновременно откупаться миллионами от буржуазии и отравлять собственную партию клеветой насчет связей левого крыла с врангелевским офицером и военным заговором. Такая политика может давать только поражения. Это снова подтвердилось на судьбе переговоров с Францией. Отклоняя несвоевременные уступки, которые привели бы только к усилению нажима на нас, мы вместе с тем отклоняем и осуждаем ту политику, которая привела нас к новым международным поражениям.

Г. ЗИНОВЬЕВ
Л. ТРОЦКИЙ
И. СМИЛГА
Г. ЕВДОКИМОВ

12 октября 1927 г.

СТАНИСЛАВСКИЙ И МЕЙЕРХОЛЬД: ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИИ

XX век в русском театральном искусстве проходит под знаком развития и соревнования двух театральных систем. Одну из них наиболее полно и последовательно представлял Станиславский с его служением жизненной правде, верностью *душевному* реализму в творчестве актера — так называемый психологический театр, или театр "переживаний." Другую систему ярко представлял Мейерхольд с его теорией и практикой так называемого *условного* театра, связанного с народной театральной стихией, с балаганом, площадным представлением.

Станиславский считал, что тенденция и искусство "несовместимы, одно исключает другое", что режиссеры и актеры "не должны думать о политике". "Зритель, — говорил он, — пусть делает свои заключения, и сам создает тенденцию из воспринятого в театре".

Мейерхольд — его ученик, порвавший со МХАТом еще в 1902 году — наоборот, стремился выйти на зрителя, перешагнуть через рампу, разрушить иллюзорный мир театра, вводил систему эксцентрического стиля актерской игры, утверждал игровую природу театра при его подчеркнутой тенденциозности.

Основатели этих двух, казалось бы противоположных систем, находились в состоянии если не открытой вражды, то в постоянной внутренней оппозиции друг к другу. Казалось, что современное театральное искусство будет развиваться под знаком дальнейшего размежевания и расхождения этих двух систем. Этому во многом способствовали и объективные условия советского искусства, когда культурная политика партии разжигала антагонизм двух вождей русского театра, противопоставляя Мейерхольда Станиславскому в 20-ые годы и Станиславского

Мейерхольду в 30-ые, когда революционное новаторство Мейерхольда уже никому не было нужно.

На исходе 30-ых годов советский театр попал в трудное положение вследствие засилья "партийной" доктрины соцреализма, открыто подчинявшей искусство спекулятивным политическим целям. Жертвами нивелирования искусства стали обе системы: и догматизированный учениками Станиславского психологический театр, провозглашенный единственно правильным, и условный театр Мейерхольда, объявленный вредным формализмом в искусстве. Стране нужен был унифицированный театр как послушное орудие политической пропаганды.

Мейерхольд в своей последней речи на I Всероссийской конференции режиссеров в 1939 году говорил, обращаясь к Президиуму, в котором сидели проводники политики партии во главе с "режиссером" сталинских чисток А. Вышинским: "Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые скучные спектакли, похожие один на другой и один хуже другого. Трудно отличить теперь творческий почерк Малого театра от театра Вахтангова, Камерного от Художественного. Там, где еще недавно творческая мысль была ключом, где люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону, действительно творили и создавали, там, где были лучшие театры мира, — там царит теперь, по вашей милости, унылое и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились? Если да — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!". Через 2 дня после этой речи В. Мейерхольд был арестован НКВД и исчез в подвалах Лубянки.

В 30-ых годах Станиславский, по существу, самоустранился от руководства МХАТом, несмотря на внешние почести, которыми он был окружен. Руководство театром перешло в руки более гибкого и менее принципиального основателя театра — к Немировичу-Данченко, который, по существу, изменил высоким целям "нетенденционного" искусства и славословил Сталина. Большую часть времени Немирович проводил за границей.

Станиславский болел. Он отгородился от мира в своем особняке, куда редко кого приглашал. Он видел, как из театра постепенно вытравляется творческий дух его системы, но не имел ни моральных, ни физических сил остановить этот болезненный процес. В последний период своей жизни он работал над книгой об актерской этике и выдвинул новую теорию "физических действий", сближавшую его систему с системой Мейерхольда. Следы размышлений Станиславского о дальнейшей судьбе МХАТа хранят его записи в блокноте, относящиеся к 1936 году. Станиславский, видя кризис МХАТа и советского театра в целом, предлагал "передать филиал (МХАТ) Мейерхольду, соединив нашу и его труппы, МХАТ — оставить Нemiровичу". "При этом, — писал Станиславский о соединении с Мейерхольдом, — я ему создаю труппу (переживание), он — биомеханику и постановщ. у меня".

Эта уникальная запись из Музея архива МХАТа свидетельствует, что Станиславский в конце жизни серьезно задумывался о необходимости объединить обе системы, чтобы выйти из тупика, куда завела театр невежественная политика советских чиновников от искусства.

7 января 1938 года приказом по Комитету по делам искусств театр им. Мейерхольда был закрыт, а его основатель и руководитель выброшен на улицу, и с ним боялись здороваться знакомые. Перед этим в партийной печати появились многочисленные разгромные статьи о вреде для советского искусства "формалистического" новаторства Мейерхольда.

В этот трудный момент жизни Мейерхольда, когда он, подавленный происшедшим, не выходил из дома в холодной Москве, боясь встретить знакомых, в его квартире раздался телефонный звонок. После почти тридцатилетней размолвки Мейерхольду позвонил больной Станиславский. "Было около одиннадцати часов утра, — рассказывала жена Мейерхольда актриса Зинаида Райх, — Станиславский просил приехать к нему домой. Всеволод Эмильевич тотчас отправился к Константину Сергеевичу. Было часов около шести вечера, а Мейерхольд все еще не возвращался".

К сожалению, записи этой исторической беседы двух режиссеров история не сохранила. Но известно, что Станиславский

проявил мудрое великодушие и предложил опальному Мейерхольду свою дружбу. Он дал ему работу в своей оперной студии, и в марте Мейерхольд начал там работать. В мае 1938 года был официально назначен режиссером, а в октябре, после смерти Станиславского, был назначен главным режиссером Государственного оперного театра им. К.С. Станиславского, в коей должности и проработал до своего ареста НКВД в июне 1939 года.

О содержании встречи со Станиславским мы знаем со слов Всеволода Эмильевича. 4 апреля 1939 года, он, выступая перед труппой оперного театра, так рассказал об этом: "Константин Сергеевич сказал: "Не намерены ли Вы меня ревизовать?" Я сказал, что буду с ним согласовывать. На это он ответил: "Я думал, что Вы сами будете производить бунт. У меня есть Моцартовский зал. Хорошо начать там ставить маленькие моцартовские оперы. Пусть там штампы, рутина, — а мы будем вентилировать свежим воздухом театра". Он говорил: "Мы без занавеса будем играть..." Это он хотел мне приятное сказать", — добавил Мейерхольд (цит. по "Жизнь и творчество Стан. Летопись", т. 4, стр. 508).

Так начался новый этап в истории отношений Мейерхольда и Станиславского, к сожалению, слишком короткий период их совместной работы по сращиванию, соединению, взаимообогащению двух систем советского театра. Но значение этого короткого периода для будущих судеб русского театра огромно.

Справедливость требует сказать, что первые шаги к примирению со Станиславским сделал еще до его телефонного звонка Всеволод Эмильевич. В сентябре 1937 года, когда тучи над театром Мейерхольда сгустились, он заявил перед труппой своего театра: "Я надеюсь, что когда-нибудь Станиславский разрешит нам сделать так, чтобы мы могли получить ответы на мучительные вопросы, касающиеся всей театральной культуры". Мейерхольд подчеркивал при этом, что он ждет этих советов от самого Станиславского, "а не от его так называемых учеников в кавычках, которые мнят себя его учениками". На другом общем собрании театра им. Мейерхольда — 25 декабря 1937 года, за десять дней до закрытия, — он сказал: "Нужно покончить с этим вздором, с этой ерундой, что Константин Сергеевич и я являемся антиподами. Это неверно. Мы — две системы, *друг друга*

дополняющие (подчеркнуто мной — А.Г.). Константин Сергеевич отказался от многого, что вошло в его систему от мейнингенцев. Я в своей системе взял многое из того, что я в начале моей деятельности отрицал, не брал от Константина Сергеевича". И далее продолжал Мейерхольд: "... мы выяснили, что у нас нет принципиальных крупных расхождений, что эти две системы найдут единство, когда над этими системами будут научно-исследовательски работать люди, в этом деле понимающие". (Стенограмма ЦГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. 73, цит. по М., т. 2, с. 579).

Говоря о взаимоотношениях двух театральных систем, Станиславского и Мейерхольда, мы должны отметить, что, по существу, они никогда не противостояли и, тем более, не исключали друг друга, а являлись естественными этапами развития общей театральной мысли XX века, накапливая опыт на двух полюсах театрального поиска. Как показывает новый архивный материал (находка Г.В. Кристи в архиве Станиславского и монография К. Рудницкого о Мейерхольде) оба художника-новатора даже в самый разгар их споров понимали и признавали необходимость творческого синтеза их различных опытов в театре как залога будущего успеха. Так, Станиславский был убежден Мейерхольдом, что надо разрушить "четвертую стену" в театре и еще в конце 20-ых — начале 30-ых годов приводил пример того, как умело Мейерхольд упраздняет портал, превращая сцену в продолжение зрительного зала. "Он этого не скрывает!" — восхищался Станиславский. Нельзя не увидеть в этом будущих сценических новаций советского театра 60-ых — 70-ых годов.

С другой стороны и Мейерхольд, отойдя от увлечений "Театрального Октября", был убежден, что система Станиславского вобрала в себя и опыт мейерхольдовских исканий, а он сам — Мейерхольд — прямое продолжение великой революции в театре, которую совершил Станиславский. В своих последних работах Мейерхольд, отойдя от крайностей "биомеханики", все более использовал приемы психологического театра, сочетая их с условной режиссурой.

Когда Любимов в московском театре на Таганке в 1964 году повесил рядом портреты Станиславского и Мейерхольда, это

вызвало горячие споры. Но прошло двадцать лет, и теперь только отдельные ортодоксы возражают против этого. Все яснее становится, что современное театральное искусство не может обойтись ни без Станиславского, ни без Мейерхольда. Это — две ипостаси одного вечно зеленого дерева театра.

Александр Гершкович

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Ивана Елагина

На Елагином острове валят снега по ночам,
по-над Невкой вороны фамильные гнезда качают.
В белоствольных колоннах века по одежке встречают,
провожают, похлопав рукой по опальным плечам.

В деревянном театре приветливы скрипы кулис,
подновленные наспех, актеры играют нестрашно.
Пока ветром попутным не полнится парус, Улисс,
лицедейство не в счет, там где царствуют дружба и брашно.

На горячем снегу расprostерты теней терема,
крестовина Крестовки, что кость в бездыханной гортани,
по-над будущим прошлое медленно сходит с ума
в опоздавшей, и все же, — как рана дымящейся рани.

Плоскостопие льда подминает упавшую твердь,
слитки крови звенят, водостоки артерий корежа.
В белом саване Жизнь, в снежном саване Светлая Смерть,
на кого ты, сестра, и лицом и повадкой похожа?!

По треперстью реки — от Елагиных трепетных трех,
трепеща, утопая, навек, навсегда растворяясь,
за спиной оставляя на памяти выдох и вдох,
полыхнет ледоход, берегов языками касаясь.

И вослед не труба — щебетание, посвист, ожог,
еле слышный прокол — непредвиденный, непредрешенный,
как в негнущихся пальцах припавший к дыханью снежок
оглушающий, гложащий, глохнувший, незаглушенный.

В. Петроченков

ПАМЯТИ ПОЭТА И.В. ЕЛАГИНА

Недавно после тяжелой болезни ушел от нас Иван Венедиктович Елагин — большой эмигрантский поэт, создавший в Зарубежье несколько сборников незабываемых стихов.

Родился Елагин (настоящая фамилия — Матвеев) в 1918 году во Владивостоке. Его литературная родословная началась с деда — журналиста, издателя, автора очерков по истории города Владивостока. Отцом Елагина был поэт-футурист Венедикт Март (Матвеев).

Жизненный путь Елагина был труднейшим из трудных. Это и предвоенные годы, и страшная Вторая мировая война, и жизнь на Западе, особенно бесприютная в первое послевоенное время. Последний, американский период, когда поэт преподавал в Питтсбургском университете, был более спокойным. Это было уже время осмысления потрясений, перевоплощения их в память — время создания сильных стихов, отмеченных своим точным соответствием трагическому прошлому.

Творчество Елагина — свидетельство о лихолетье военного времени, о почти невозможном выживании, об эмиграции. Среди сборников его стихов — два ранних, написанных, когда поэт был в лагере для перемещенных лиц в Мюнхене. Это — *"По дороге оттуда"* и *"Ты, мое столетье"*. Позднее они вошли в сборник, тоже названный *"По дороге оттуда"*, который был издан в Нью-Йорке в 1953 году. Кроме того, И. Елагин — автор книг *"Отсветы ночные"* (1963 г.), *"Косой полет"* (1967 г.), *"Дракон на крыше"* (1973 г.), *"Под созвездием топора"* (1976 г.), *"В зале вселенной"* (1982 г.) и *"Тяжелые звезды"* — сборника избранных стихов, изданных друзьями перед самой смертью поэта.

Кроме того, Елагин переводил американских поэтов, таких, как Эмили Дикинсон, Роберт Фрост, Сильвия Платт, Стенли Куниц и многих других. Особенно хорошо известен его перевод поэмы Стефена Беннета *"Тело Джона Брауна"*.

Хотя все друзья вспоминают о врожденной жизнерадостности Ивана Елагина, в его поэзии преобладают темы катастрофы, которые подчеркиваются ритмом, внутренней напряженностью, самой лексикой его стихов. Елагин внес в классические формы стихосложения стиль и мировоззрение своего трудного поколения.

В Советском Союзе о войне написано много стихов, и все же Ивану Елагину удалось, за пределами своей родины, создать стихи о последней войне, стихи не только сильные и страшные, но и свободные от любой примеси официальности.

Шестнадцать стихотворений Елагина о войне я выделила в отдельную группу и назвала их русской "Герникой". Известно, что картина Пикассо — важнейший трагический символ нашего века. Елагин создал в русской поэзии почти столь же пластически ощутимые образы военных разрушений. Часто цитируются его строки: "И на путях дымятся груды шпал/ И проволока вянет на заборе," а также: "И этот танк, торчащий из воды/ И этот мост, упавший на колени"; и у него же: "Становятся дома на костыли..." Есть, конечно, у Елагина и строки пострашнее. Слова: "На столбе не зажигают огонька,/ Три повешенных скупают паренька" особенно преследуют людей, видевших подобные сцены. За несколько дней до смерти поэта, по телефону, я предложила Ивану Венедиктовичу метафору пикассовской "Герники" для его стихотворений о войне, и он ее принял.

Еще и другую роль предстояло выполнить поэту Елагину в своей жизни. Он стал одним из главных выразителей так называемой "второй" эмиграции в поэзии. Большинство ее, как и он, выжило случайно. Поэтому слово "выживание" так емко и глубоко в его стихах.

Я очень жалею, что почти не знала Елагина, как человека, но достаточно знать его стихи, чтобы не сомневаться в том, что ему принадлежит место одного из главных выразителей опыта "второй" эмиграции и всех испытанных ею катастроф. Напрасно он повторял, на одной из последних конференций славистов в Чикаго: "А обо мне забудут. А мои стихи "туда" не дойдут". Он ошибался. Теперь, когда его не стало, стихи его звучат еще звонче и крепче.

За подлинную память о нашем веке, оставленную им в своих стихах, Елагина будут помнить и современники, и будущие поколения.

За границей о Елагине немало уже написано статей, книг, диссертаций. У него есть уже международная известность. Не издавался он только на своей родине, но, как большой поэт, он знал, что рано или поздно "...на русскую полку/ Мне когда-нибудь звездно упасть", а также, что "Пойдут стихи звеня/ По Невскому и Сретенке/ Вы повстречаете меня/ Читатели-наследники".

Екатерина Филипс-Юзвигг

Библиографический раздел а также список книг, поступивших для отзыва, будут опубликованы в следующем номере журнала.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Подписная цена на год 40 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 10 долларов



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012

Телефон редакции (212) 353-1478

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час. дня
